

---

красивая книга русской прозы

---

# Эммануил Казакевич

---

## Звезда

---

выбранное

---



## Двое в степи

### Глава первая

Армия отступала по необозримым степям, и вчерашние крестьяне равнодушно топтали спелую пшеницу, которая валялась повсюду запыленная, избитая, изломанная.

Странную картину являл наблюдателю вид отступающих армий. Люди уходили с мрачными лицами, но как-то по-хозяйски медленно. В их глазах была тоска, но она не проявляла себя ни в горестных возгласах, ни в возбужденных жестах. Попросту говоря, знали, что придется возвращаться, а чем дальше уходишь на восток, тем длиннее будет путь обратно.

Если бы какой-нибудь прозорливый немецкий разведчик мог наблюдать происходящее и разобраться в природе этой угрюмой и упрямой уверенности, его затрясло бы от страха.

Лишь машины, отставшие от своих частей, да беженцы с детьми, подгоняющие хворостинами коров, придавали тяжеловесному ходу отступления черты сумятицы и растерянности. В станицах у плетней стояли бабы и старики. Некоторые из них плакали и бросали солдатам слова горькой укоризны. Солдаты же в ответ только отводили глаза, тая про себя думы о будущем и добела накаляясь той молчаливой яростью, которая сильнее самых сильных слов.

Лейтенант Огарков, верхом на белом коне, обогнал идущих по дороге солдат и вскоре миновал небольшую возвышенность, на склоне которой полуголые люди, обливаясь потом, рыли новый оборонительный рубеж.

Лейтенант был горд собой и своим белым конем. Несмотря на все, что творилось вокруг, и на гнетущую тревогу, витающую над степью, он не мог, по молодости лет, не любоваться тем, что именно он, Огарков, а не кто-нибудь другой, мчит по степи на белом коне, оставляя за собой струйку серой пыли. Лейтенант старался придать своему румяному безусому лицу важный и серьезный вид, чтобы люди, идущие по дороге, не считали его испуганным и жалким беглецом, стремящимся оказаться подальше от немца, а понимали, что он едет с важным и ответственным поручением.

К вечеру он достиг своей цели – деревни, где расположился штаб армии. Ему указали избу оперативного отдела, и он, спешившись, вошел в темные сени, ощупью нашел щеколду, открыл дверь и очутился перед двумя майорами, из которых один говорил с кем-то по радио, а другой, с красной нарукавной повязкой, кричал в телефонную трубку.

Лейтенант доложил о своем приезде.

Майор с нарукавной повязкой, положив трубку, просмотрел документы Огаркова и сказал:

– Офицеры связи помещаются в соседней избе. Можете там отдыхать, но будьте наготове.

Огарков отправился в соседнюю избу. Она была битком набита офицерами связи и ординарцами. Все они сидели вокруг стола и ели кашу из пшеничного концентрата, запивая молоком. Нового товарища офицеры встретили радушно, объяснили, куда утром сдать продаттестат, и пригласили ужинать. Один из офицеров, высокий тонколицый лейтенант с усиками, рассказывал об уничтожении группы немецких мотоциклистов, прорвавшихся было к самому штабу дивизии.

– Если на них поднажать,– с жаром говорил он,– они так бегут, что одно удовольствие.

– Танков у них много,– сказал кто-то из полутьмы.

– Только этим и берут,– отозвался еще кто-то.

Огарков, молодой и робкий, не участвовал в разговоре. Он посидел на лавке, пересчитал офицеров и ординарцев и пришел к горестному выводу, что только он один приехал без ординарца. Вспомнив о своем коне, привязанном к тыну возле избы, он тихонько встал, подошел к печи, у которой возилась старуха хозяйка, и спросил, есть ли у нее стойло, куда лошадь поставить. Старуха вытерла маленькие темные руки о передник и вышла с Огарковым по двор. Спускались сумерки, двор был полон запахов прелого сена и навоза. В томной конюшне позвякивали уздечками кони. Привязав там своего белого, Огарков подумал, что следует его напоить, и сказал об этом старухе. Та сочувственно спросила:

– Городской?

– Да,– ответил Огарков, недоумевая, почему хозяйка сразу поняла это. Он, наоборот, думал, что выглядит как заправский казак.

Она пошла в избу и вскоре вернулась с ведром. Пока он раскручивал ворот, опуская ведро в глубь пахнущего сыростью колодца, старуха тихо говорила:

– Неужто и сюда он дойдет? Господи, что же это такое? Неужто он такой сильный, что даже русские не в силах с ним сладить?

– Почему не в силах? – сказал Огарков.– Мы сладим.

Ответ его, видимо, не показался ей слишком убедительным, и она повторила, обращаясь не к нему, а к бескрайней степи с тем же трудным вопросом:

– Неужто дойдет?...

– Сам я недавно из военного училища, всего месяц,– сказал он, словно желая этим фактом объяснить причины отступления, и, помолчав, добавил: – Все равно им конец, при всех обстоятельствах. Даже если они пустят отравляющие вещества, газы...

– А зачем ему газы? – тоскливо сказала старуха, сжав на груди руки и глядя вдаль на зажигающиеся в небе звезды.– Ему газы ни к чему, раз он вас и так гонит...

Ведро, расплескивая воду, медленно подымалось вверх.

Разговор со старухой угнетающе подействовал на лейтенанта, однако он скоро о нем забыл. В избе офицеры связи все еще толковали о немцах, честили их по-всякому и предсказывали им решительное поражение на Дону. Наиболее оптимистически был настроен тот лейтенант с усиками, которого звали Синяевым.

– Они скоро выдохнутся,– говорил он убежденно,– силенок не хватит... Зарвались слишком. Огарков лег на койку.

– Вы разуйтесь, лейтенант,– сказал ему Синяев.– Так разве отдохнешь?

– Дежурный майор приказал быть наготове,– смущенно ответил Огарков.

Офицеры сдержанно рассмеялись – наивность новичка позабавила их.

– Ничего,– дружески произнес кто-то,– если слушать дежурных майоров, всю войну в сапогах проспишь.

Огарков послушно разулся и погрузился в свои мысли.

Приезд в штаб армии являлся для него крупным жизненным переворотом. Еще вчера вечером он числился начхимом полка, и не подозревал, что его ожидает такая резкая перемена. Переменой этой он был доволен. Химическая служба больше не удовлетворяла его, хотя еще месяц назад он ехал из училища, непоколебимо уверенный в том, что химия едва ли не важнейшее дело в армии.

Он тогда был твердо убежден, что немцы в ближайшее время начнут химическую войну, и жаждал противопоставить им бдительную и умелую оборону. Он бредил противогАЗами, противоипритными костюмами, накидками, дегазацией оружия. Каждое отравляющее вещество он знал назубок – по запаху, внешнему виду и свойствам, каждый предмет табельного имущества казался ему дорогим и полным глубокого и неповторимого смысла. Он был полон решимости передать свои знания всем солдатам без исключения и немедленно.

Однако, прибыв в часть, стоявшую тогда в обороне, он столкнулся, к своему удивлению, с довольно равнодушным отношением людей к противохимической защите. Ему поручали разные задания: он проверял бдительность в траншеях переднего края, состояние стрелкового оружия, боевую подготовку рот второго эшелона. Своим делом он, в сущности, занимался мимоходом.

Полное понимание он встретил, пожалуй, только в маленькой химинструкторше Вале, своей помощнице. Эта рыженькая веснушчатая девушка в больших сапогах одна только и поддерживала его высокое мнение о своей миссии. Целые дни ходила она по батальонам и ротам, проверяя химическое имущество, тихо и беззлобно упрекая командиров в нерадении к противогАЗам и противоипритным пакетам и настойчиво выбрасывая из противогАЗных сумок бойцов краюхи хлеба.

Ходила она как будто неторопливо, потихоньку, но за день успевала обойти всех и вся, заглядывала во все блиндажи и щели, бочком пробиралась среди лошадей и походных кухонь, а к вечеру обязательно появлялась в штабной землянке и исправно докладывала Огаркову о замеченных ею не порядках.

– Не дай бог, конечно,– говорила она,– но хоть разик нужно было бы Гитлеру газы пустить, тогда бы наши поняли, что такое химия...

Однако Гитлер к газовой войне не прибегал, и Огарков чувствовал себя лишним в полку.

В штабной землянке вместе с лейтенантом жили помощник начальника штаба по разведке старший лейтенант Кузин и начальник артиллерии капитан Дубовой. Кузин частенько посмеивался над Огарковым и каждый раз встречал его неизменными словами:

– Привет лейтенанту Ломоносову – Лавуазье!

Огарков иногда обижался, но чаще всего прощал Кузину его насмешки: Кузин целые дни пропадал на переднем крае, раза два лазил за «языком». В насмешках Кузина и сквозило чувство превосходства человека, делающего живое, опасное дело, над человеком, которого держат, так сказать, про запас. Он сразу забывал об Огаркове и тут же начинал оживленно

рассказывать капитану Дубовому о том, что за день было замечено на немецком переднем крае. Он тыкал пальцем в различные точки на карте, говоря:

– Это у них НП, честное слово! Это обязательно накрой! Или:

– Пойми, тут по меньшей мере два миномета у него. Дай им перцу, обязательно!

Молчаливый Дубовой наносил эти сведения на схему и уходил к своим пушкам.

Огаркова обижало, что его товарищи обращают на него так мало внимания. Ему хотелось доказать им, что и он не лыком шит и способен на настоящие дела.

Потом началось отступление.

Немцы нанесли удар не на участке полка, а где-то гораздо левее, и полку приказано было отойти, чтобы избежать окружения. Поэтому он снялся в полном порядке среди ночи и только через сутки начал отбивать атаки немецких подвижных частей. Основные силы немцев двигались далеко на юге, пробиваясь клином на восток и отмечая свое движение заревом пожаров. Иногда немецкий клин оказывался восточнее отходящих советских частей, и создавалась та неразбериха, тот так называемый «слоеный пирог», который в первый год войны сбивал с толку еще не искушенных штабных офицеров.

Военные действия полка и всей дивизии ограничивались арьергардными схватками с не очень сильно напиравшим противником. Наконец остановились на восточном берегу небольшой речки. К этому времени подоспели три «катюши», которые накрыли наступавших немцев, ошеломили их и снова ушли. Воспользовавшись замешательством в рядах противника, дивизия сумела окопаться, приняла бой, отразила несколько атак и закрепилась.

Вечером Огаркова вызвали в штаб полка.

Командир полка майор Габидуллин, ширококостый и немного брюзгливый татарин с узкими, раскосыми и беспощадными глазами, сказал, словно извиняясь:

– Ты, Огарков, уедешь ненадолго. Не то чтобы ты был нам не нужен. Но некого послать, а приказано выслать человека. Кого же пошлешь, а? – Огарков молчал, и майор, не дождавшись от него ответа, продолжал: – Передай пока дела Вале, она девушка хорошая, заменит тебя недели на две. А потом ты вернешься. А?

Огарков не понимал, что означает это странное вопросительное «а» командира полка и нужно ли отвечать на него. Значило же оно то, что Габидуллин сомневался в правильности своего решения. Собственно, он не имел права отсылать начхима. Есть ли химическая война или нет ее, но начхим есть и, следовательно, должен быть. Однако некого было послать. При этих обстоятельствах данный выход из положения казался наилучшим.

Приказание комдива гласило: «Выслать командира и бойца на двух верховых лошадях в распоряжение штаба дивизии». Габидуллин выполнил только половину приказа. Он не мог послать двух человек и пару лошадей: ему было

жалко. Он всегда был крайне скуп на людей и лошадей и всячески старался обходить такого рода приказания. В представлении Габидуллина все вышестоящие начальники только и делали, что зарились на людей и лошадей из его полка.

Коня он дал Огаркову хотя и рослого, белого, как сметана, но недавно раненного в бедро и поэтому припадающего на левую заднюю ногу. Огаркову, однако, он показался чудесным, необыкновенным, сказочным.

Наскоро попрощавшись с сослуживцами и пожав руку опечаленной Вале, Огарков вскочил на

коня и вдруг почувствовал небывалое доселе блаженство. Он впервые ощутил себя по-настоящему военным, командиром, словно поднялся не просто на спину коня, а на полтора метра выше трезвой окопной жизни.

В штабе дивизии его принял в своем лиственном шалаше сам начальник штаба подполковник Сомов. Подполковник оглядел высокого стройного лейтенанта и одобрительно прищурился – лейтенант был опрятен, гладко выбрит и внушал доверие своим открытым и красивым лицом.

– Недавно из училища? – спросил подполковник.

– Один месяц, товарищ подполковник.

– Поедешь офицером связи от дивизии в штаб армии. Тебе ясны твои обязанности? Вот они: быть в курсе всех военных событий, держаться при оперативном отделе штаба армии, всегда знать, где и в каком положении дивизия, и привозить нам распоряжения и приказы.– Переходя на «вы», чтобы подчеркнуть серьезность новых обязанностей лейтенанта, подполковник Сомов закончил, вставая: – Вам поручается весьма важное дело. Можете следовать.

Лежа на лавке в избе офицеров связи, лейтенант Огарков засыпал с довольной улыбкой на губах. Мир казался ему приветливым и правильным, несмотря на то, что тихий голос старухи хозяйку все еще звенел в ушах, как упрек:

– Неужто и сюда он дойдет?...

## Глава вторая

– Подъем! – услышал Огарков спросонья громкий повелительный окрик.

Он вскочил. В полутьме избы суетились люди, вскакивая с лавок, натягивая сапоги и надевая ремни. Дверь была открыта настежь. Резкий ветер выдул из углов и простенков домовитый запах и накопленное тепло. В избе стало холодно и неудобно. Старуха хозяйка, сидя на печке, безмолвно глядела вниз на возбужденных, куда-то спешащих людей.

Огарков обулся, надел шинель и вместе со всеми остальными вышел во двор. Ординарцы пошли в конюшню седлать лошадей, и Огарков с минуту стоял в нерешительности, не зная, куда раньше пойти: за офицерами или за ординарцами – седлать свою лошадь. Он пошел за офицерами.

Они гурьбой ввалились в избу оперативного отдела. У одного из столов, ярко освещенного большой лампой, над картой склонилось несколько человек, среди которых Огарков не без трепета увидел генерала. Генерал что-то вполголоса говорил. Огарков не слышал его слов. Наконец генерал поднялся со стула, осмотрел стоящих «смирно» офицеров связи и прошел мимо них в дверь, беглым и рассеянным движением приложив руку к козырьку фуражки. Лейтенант в шинели, сидевший за другим столом, поднялся одновременно с генералом и вышел вслед за ним.

Люди отошли от карты, и у стола остался только седой полковник в пенсне. В комнате с минуту длилась тишина. Потом полковник, сняв пенсне и глядя поверх людей большими близорукими глазами, заговорил:

– Товарищи офицеры связи, вы немедленно выедете в свои дивизии и развезете боевой

приказ. Положение весьма серьезно, как вы сами, вероятно, знаете. Мы снова вынуждены отходить, да-с...– Последние слова он произнес глухо и скороговоркой, затем продолжал по-прежнему: – С некоторыми из дивизий потеряна связь... Дивизионные радиостанции работают не все, неизвестно почему. Тем более важным является поручение, возлагаемое на вас.

Он стал выкликать офицеров связи по очереди и вручал каждому из них пакет, запечатанный сургучом. При этом он снова надел пенсне, и глаза его сразу оживились, приобрели остроту и пронзительность.

– Передайте, чтобы они все время были на приеме. Радиостанции должны работать непрерывно.

Эту фразу он произносил в качестве напутствия каждому офицеру в отдельности. С каждым таким напутствием он становился все злее, потому что отсутствие радиосвязи с некоторыми дивизиями бесило и мучило его, и последнему офицеру – то был Огарков – почти выкрикнул в лицо:

– Радиостанция чтобы работала, черт их возьми! Воют, как в турецкую войну!

– Есть, – пробормотал Огарков.

Он вышел из избы и направился к соседнему двору. Здесь уже стояли наготове кони, позвякивая уздечками и дожевывая выхваченный из кормушки последний клочок сена.

Офицеры закуривали, вскакивали в седла. Огарков направился в конюшню и попытался здесь как можно быстрее заседлать своего коня, но в темноте и с непривычки у него ничего не получилось. По правде сказать, он волновался: ему хотелось выехать вместе с остальными, хоть на дорогу выехать вместе со всеми.

Во тьме показалось белое пятно и послышался голос старухи хозяйки:

– Не управисься, сынок? Да ты выведи конька во двор, там посветлее будет...

Огарков с признательностью сказал:

– Спасибо.

Он вывел коня. Еще не все офицеры уехали. Четыре лошади стояли у тына, низко наклонив головы друг к другу, словно тоже о чем-то советуясь, как начальники над картой.

Заседлав лошадь, Огарков вошел в избы. Здесь сидели двое из офицеров, изучая карту. Огарков вынул из полевой сумки свою, обрадовавшись дельному примеру: поистине не вредно было по карте изучить путь следования.

Лейтенант Синяев поднял глаза на Огаркова и сказал:

– Наши дивизии по соседству. До хутора Павловского мы едем, значит, вместе.

Огарков еле скрыл свою радость. Слова Синяева и та ухватка, с которой лейтенант с усиками поглядывал то на карту, то на свой компас, преисполнили сердце Огаркова уверенностью.

Они вышли из избы, сели на лошадей и поехали по деревенской улице.

– Почему вы без ординарца? – спросил Синяев

– Не знаю, не дали, – ответил Огарков.

– Глупо, – сказал Синяев. – Разве офицеру связи можно без ординарца? Стрясется с ним что-нибудь такое – некому даже помочь или по начальству сообщить.

Огарков виновато промолчал.

Выехав в поле, они пустили лошадей рысью. Минут пятнадцать ехали в молчании, потом Синяев придержал коня и сказал:

– Вы обязательно потребуйте себе ординарца.

– Да, я скажу.

На юге и западе небо алело дальними пожарами.

– Обстановочка...– сказал Синяев и свистнул. Второй, до сих пор молчавший, офицер сплюнул и злобно сказал:

– Когда уж мы им дадим по шее?

– Это Москва знает,– сказал Синяев.

Огарков спросил, кто этот генерал, которого он видел в оперативном отделе.

– Начальник штаба армии,– ответил Синяев,– генерал-майор Москалев. Дельный мужчина.

«Мужчина?» – подумал Огарков, удивляясь развязности синяевского тона и в то же время восхищаясь такой свободой.

– И полковник Воскресенский человек не плохой,– продолжал Синяев,– только поговорить любит. Если напустится на кого, так точно играет пьесу, Шекспира какого-нибудь. Когда немцы прорвали оборону, он, говорят, плакал. Старик, конечно, ему уже лет сорок с гаком. А в общем, парень он хороший. У нас все тут хорошие люди, гонять понапрасну не любят, всегда выручат. Командарм – тот строгий, на днях был ранен в руку, так и ходит с завязанной рукой. Ему хуже, чем нам всем,– он за всех отвечает. С ним жена, тоже боевая женщина, она следователем работает, в армейской прокуратуре.

Болтовня Синяева, несложные армейские сплетни отвлекли Огаркова от тревожных мыслей. Он слушал эти истории, как любопытный провинциал – столичные новости.

Но лошади снова перешли на рысь. Синяев и другой офицер все время обгоняли Огаркова, и он скакал рядом с ординарцами. Вскоре пошел дождь, ветер бил по лицу дождевыми струями. Один из ординарцев сказал:

– Это ладно, что дождь. Кабы и днем был дождь! Хоть «юнкерсы» утихомятятся.

Но дождь скоро прошел, и на небе снова замерцали звезды,– звезды без конца и края.

На перекрестке отстал и исчез во мгле офицер с ординарцем. И Огарков вспомнил, что вскоре он и с Синяевым расстанется. Хорошо бы поехать с Синяевым в его дивизию, чтобы потом с Синяевым же заехать в свою. Так он всегда дельвал в детстве с братом Борисом, когда их посылали по двум разным поручениям.

Зарева пожаров заметно приблизились. По дороге брели подводы, шли машины с погашенными фарами. У обочин, а иногда и на самой дороге зияли воронки. На душе становилось все тревожней. Где-то правее, не очень далеко, гремели выстрелы орудий.

Хутор Павловский лежал в буераке, у извилистой речушки, вьющейся среди кустарника и камыша. Здесь Синяев придержал коня, сказал: «Ну, всего»,– и ускакал налево. Огаркову стало обидно, что Синяев так кратко с ним простился. Цокот копыт синяевской лошади вскоре потерялся вдали, и точно не в силах терпеть такую полную тишину, где-то уж совсем близко



послышались раскатистые взрывы и вслед за ними треск пулеметов.

Постояв с минуту, Огарков тронул повод и двинулся вниз, к мосткам через речушку. Кругом лежали убитые лошади. На западном берегу сидели раненые солдаты, видимо присевшие отдохнуть. Огарков спросил, не из его ли они дивизии, но они оказались совсем из другой – и даже не дивизии, а бригады.

Огарков поехал дальше, всюду натываясь на группы идущих к востоку людей. Но и они были не из его дивизии, и это обеспокоило Огаркова. Он хлестнул коня, но конь, видимо, устал и упорно двигался шагом, заметно припадая на левую заднюю ногу.

Дорога вскоре потерялась в пшенице, затем повернула резко направо. Она завела Огаркова в лесок и тут внезапно оборвалась.

Он слез с коня, повел его на поводу, а сам побрел, низко пригибаясь к земле в поисках дороги. Потом понял, что не туда повернул, и пустился обратно, но лесок неожиданно оказался довольно обширным. Огарков шел, натываясь на пни, и наконец вышел к каким-то стогам, которые стояли, загадочные и темные, бесконечными прямыми рядами, теряющимися в ночи.

Он долго блуждал среди этих стогов и, уже потеряв всякую надежду выбраться куда-нибудь, услышал шум автомашин. Он вскочил на коня и через несколько минут очутился на шоссе.

Восемь машин промчались мимо не удостоивая ответом его окрик. Тогда он двинулся на запад, потом дорога повернула на юг. Он знал, что на юг ему не надо. Но дорога шла именно на юг, к северу же тянулись необозримые поля пшеницы. Он некоторое время двигался по дороге, потом повернул обратно. Выстрелов уже не было слышно, только раздавался тяжелый и равномерный гуд.

Огарков решил ехать на север во что бы то ни стало, хотя бы напрямик. Конь заметно ослабел и повесил голову. Раздвигая грудью колосья, он медленно плелся по бескрайним полям. А колосья не редели, – наоборот, они становились все гуще и гуще. Конь еле двигался среди этой темной массы хлеба, время от времени срывая мягкими губами спелый колос.

Огаркову казалось, что это никогда не кончится. Привставши в стременах, он видел вокруг те же необозримые поля. Прошло немало времени, прежде чем он услышал человеческие голоса. Шагах в тридцати правее оказалась дорога, а возле нее располагались огневые позиции артиллерийской батареи. Люди цепляли пушки к машинам и перекликались негромко, но возбужденно.

И артиллеристы понятия не имели о местонахождении дивизии. Они только что получили приказ сниматься и отходить на новый рубеж.

Лейтенант-артиллерист показал Огаркову на карте район немецкого прорыва. Это вполне могло быть на участке дивизии. Обескураженный долгими блужданиями по степи, Огарков совсем пал духом. Он поехал по дороге в северо-западном направлении и вскоре встретил целую кучу подвод.

– Какая дивизия! – крикнул в ответ на вопрос лейтенанта кто-то из темноты. – Нет уже там никакой дивизии! Все подались к Дону.

– Не знаем мы, где твоя дивизия, – сказал кто-то другой.

Подводы проехали, и Огарков застыл на месте совершенно разбитый. Окружающий мир стал представляться ему все более страшным. Дивизия, раньше казавшаяся огромным и сложным организмом, теперь песчинкой затерялась среди бесконечных нив и безымянных высоток.

Однако он продолжал упорно двигаться по дороге. Вскоре стрельба артиллерии и пулеметов разразилась с новой силой. Горели какие-то амбары. Послышался омерзительный свист, и одинокая мина взорвалась совсем близко. Тут же в ответ, захлебываясь, застрочили пулеметы, и трассирующие пули полетели по всем направлениям. И снова послышался прерывистый гуд. «Танки!» – подумал Огарков.

Поблизости упала вторая мина. Лейтенанта больно ударил по лицу твердый комок земли. И внезапно раздался спокойный и даже насмешливый голос недалеко от Огаркова.

– Ты чего стоишь, как памятник? Не видишь разве – сюда стреляют.

В окопах возле дороги сидели люди. Огарков подъехал к ним и дрожащим голосом спросил про свою дивизию.

Ему ответили:

– Там где-то... А точно где – кто знает. Такая там каша... Напирает немец.

Сплошной свист. Люди исчезли в окопах. Конь Огаркова подскочил и пустился галопом, забывши про усталость. Огарков еле удержался в седле. Мины рвались вокруг. Спрыгнув с коня, Огарков лег плашмя на землю. Он даже не заметил, как конь вырвался и умчался. Лейтенант остался один. Там, где, по всей видимости, находилась его дивизия, все гремело, пылало, тонуло в дыму. Огарков медленно пошел на выстрелы и вдруг услышал – уже позади себя – тот же равномерный и прерывистый гуд.

«Немцы прорвались», – подумал Огарков и нащупал на груди пакет.

Панический ужас объял Огаркова. Он побежал на восток, спотыкаясь, путаясь в траве, перелезая через канавы и траншеи, пока, обессиленный, не остался лежать в густом и горьком бурьяне. Небо по краям горело заревом. Красное зарево алело и на востоке, и Огарков решил, что и там немцы. А это занимался рассвет.

Вдруг Огарков услышал в темноте какие-то совсем уже непонятные звуки, которые заставили его задрожать. Что-то странное творилось совсем близко. Уловить природу этих звуков было невозможно. Треск, лепетание, звон, человеческий шепот, сопение, тяжелые шаги – Огарков чуть с ума не сошел от ужаса. Когда развиднелось, он увидел силуэт лошади, жующей траву. Она была оседлана и взнуздана. Повод тащился за ней по росистой траве.

– Трус проклятый! – сказал себе Огарков.

Он поднял голову и огляделся, но ничего не было видно: по степи стлался седой туман.

Лошадь ходила возле Огаркова, равнодушно жуя и прядая ушами. Время от времени она поглядывала на лейтенанта умными и ласковыми глазами. То была крупная лошадь гнедой масти с золотистым отливом. Оставшись без хозяина, она, может быть, обрадовалась человеку и ходила вокруг него, мирно поедая траву. Но когда Огарков подошел к ней, она отошла на несколько шагов, продолжая есть и только косясь на него умным глазом. Он снова пошел к ней, и снова она, уклоняясь, отошла на несколько шагов. Во всей ее повадке и в ласковом лукавстве большого глаза было что-то женское, гибкое, уклончивое. Ее вполне устраивало человеческое общество, но, по-видимому, нисколько не прельщала перспектива потерять свободу.

Все–таки Огаркову удалось ухватить ее за повод и вскочить в седло. Тут он заметил, что туман испарился, и, удивленный, увидел знакомую лощину, и речку, и домики на склоне лощины. Это был хутор Павловский, разоренный, покинутый.

Огарков стегнул лошадь, и она понеслась на восток, к штабу армии. Огарков тревожно

озирался по сторонам, боясь неожиданно столкнуться с немцами, но тревога его оказалась напрасной; вскоре он догнал отходящие части, вереницу людей, угрюмо и молчаливо идущих на восток.

### Глава третья

Штаб армии еще на рассвете ушел дальше на восток, и Огарков разыскал его только на следующий день в большой станице. Усталый и голодный, лейтенант расспросил, где находится изба оперативного отдела, и поплелся туда.

Офицеры из оперативного отдела буквально накинулись на него. Почему так долго не приезжал? Где находится дивизия? Что с ней? Почему ее рация упорно молчит? Какие там потери?

Огарков, растерянно мигая, ответил:

– Я не смог туда пробиться. Там немцы прорвались, и я чуть к ним не попал. А дивизия, наверно, отошла. Я к ней не мог пробиться.

Штабные ошеломленно молчали, потом куда-то побежали докладывать, а Огарков стоял посреди комнаты, не зная, что делать.

Вскоре пришел полковник Воскресенский, начальник оперативного отдела. Он вначале напустился на Огаркова, потом, надев на нос пенсне и заметив растерянный вид лейтенанта, замолчал, сел на стул и начал его допрашивать со спокойствием вконец замученного человека.

Огарков, хлопая ресницами и чуть не плача, рассказал, как было дело. Конечно, картина, нарисованная им, была весьма далека от истины, но не потому, что он хотел утаить истину, а потому, что не знал ее. Например, он не знал, что слышанный им ночью гул был гулом нашей отходящей на восток танковой части, а не танков противника; что слова, брошенные обозниками насчет того, что все ушли на Дон, были словами до смерти напуганных людей, не знающих обстановки; что немцы действительно прорвались, но значительно севернее дивизии.

Полковник сидел как оглушенный. Весь ужас положения заключался в том, что несколько часов назад ему доложили о гибели майора, посланного в ту же дивизию с тем же поручением.

Теперь, когда оказалось, что и офицер связи вернулся ни с чем, с потрясающей ясностью, повергшей в трепет Воскресенского и всех штабных, выявился тот факт, что приказ об отходе на новый рубеж не был вручен дивизии и дивизия дерется с превосходящими силами немцев на прежнем рубеже. За последние сутки немцы прорвались еще в двух направлениях, видимо обтекая сражающуюся дивизию, и, может быть, уже окружили ее.

В свете этих страшных предположений какое значение имела судьба какого-то трусившего лейтенанта? О нем попросту забыли, и только часа через четыре начальник штаба армии отдал приказ об отдаче под суд Военного Трибунала Огаркова, офицера связи от уже, может быть, не существующей дивизии.

Неожиданным защитником Огаркова оказался не кто иной, как полковник Воскресенский. Зная, однако, что генерал терпеть не может «слюней», он защищал лейтенанта несколько своеобразно, одновременно осыпая его проклятиями и презрительными эпитетами:

– Да он птенец, молокосос проклятый... Заблудился, болван... Безмозглая шляпа он, а не лейтенант... Послать его, дурачка, на передовую!

Перед глазами полковника стояло молодое растерянное лицо лейтенанта с хлопающими ресницами.

Может быть, генерал послушался бы своего заместителя, но тут в избу ввалился летчик Дорохов, только что прилетевший на своем У-2 с разведки: его посылали разыскать ту самую дивизию. Летчик был окровавлен и бледен. Судя по всему, дивизия сражалась на прежнем рубеже. По-видимому, немцы окружили ее. Сесть в расположении дивизии Дорохову не удалось: когда он начал снижаться, немцы стали его бешено обстреливать из пулеметов, пробили машину в семнадцати местах и ранили Дорохова в руку. Он еле долетел обратно.

– Под суд трибунала, – прохрипел генерал, подымаясь с места и ломая свои большие жесткие пальцы.

Только что заснувшего Огаркова разбудили, посадили в машину и повезли в соседнюю станицу, где располагались трибунал и прокуратура армии. Здесь у него отобрали пистолет и ввели в избу, где у маленького дощатого крестьянского стола сидела полная суровая женщина в гимнастерке с двумя «шпалами».

Это и была жена командующего армией, о которой Огаркову поведал Синяев. В ее глазах Огарков прочел нескрываемую враждебность, глубоко поразившую его.

Варвара Петровна, жена командующего, потеряла единственного сына полгода назад под Москвой. Сын ее тоже был лейтенантом, тоже светлым блондином. Он командовал десантным отрядом. Высадившись в тылу у немцев во время нашего зимнего наступления, этот отряд носился на лыжах по немецким тылам, рвал вражеские коммуникации в Подмосковье, истреблял небольшие группы немцев и дождался-таки подхода наших войск. Однако Сережа был к тому времени смертельно ранен и умер среди своих, что было бы утешением для него самого, если бы он очнулся от беспамятства, но не могло служить утешением для матери. А он так и не очнулся.

Глядя на высокого белокурого молодого лейтенанта, Варвара Петровна на секунду ощутила ноющую боль, которую тотчас подавила. Она стала задавать обычные вопросы, стараясь игнорировать юношеское обаяние лейтенанта и принимать во внимание только факты. Факты же были недвусмысленны: лейтенант не выполнил боевого приказа. Теперь следовало выяснить: по трусости или по неумению? Можно было склониться ко второму. Но факты были таковы: Сергей (его тоже звали Сергеем) Леонидович Огарков окончил училище, – правда, специальное, да и краткосрочное, но там изучали и топографию, и тактику, и политграмоту. У него не доставало опыта? Да. Но опыта не было и у... и у других молодых лейтенантов, образцово выполнявших любые задания.

Тут Варвара Петровна поймала себя на том, что она все время думает о своем сыне и сравнивает с ним этого Огаркова. «Так нельзя, – строго одернула она себя. – Другие лейтенанты тут ни при чем».

И она стала спрашивать с самого начала, вдумчиво прислушиваясь к ответам, пристально приглядываясь к малейшим изменениям в выражении лица лейтенанта.

На вопрос о том, признает ли он себя виновным, он ответил, что признает, и, не читая, подписал все, что требовалось.

Огаркова отвели в землянку на окраину станицы, а Варвара Петровна приступила к допросу свидетелей. Их было только двое: лейтенант Синяев и майор из оперативного отдела. Но где-то бился с врагом третий свидетель – дивизия, и этот свидетель незримо присутствовал в

деревенской избе.

После того как свидетели ушли, Варвара Петровна долго сидела в одиночестве над протоколами. Да, лейтенант Огарков был виновен. Виновен, независимо от других лейтенантов.

На следующий день утром дело поступило в трибунал.

Представ перед трибуналом, Огарков сразу как-то успокоился. Здесь была тихая и будничная обстановка. Члены трибунала сидели на потемневших от времени табуретках за таким же темным дощатым столом, под фотографиями усачей-солдат времен первой мировой войны. Из открытого окна доносился плач детей и голос хозяйки, то и дело повторявшей:

– А вот я вас ремнем!...

Огарков посмотрел на лица членов трибунала. То были спокойные, словно издавна знакомые русские лица с добрыми глазами. И ему показалось, что эти люди тоже сейчас скажут: «А вот мы тебя ремнем...»

– Фамилия? – спросил председатель.

– Огарков.

– Имя и отчество?

– Сергей Леонидович.

– Возраст?

– Двадцать лет.

– Звание?

– Лейтенант.

– Должность?

– Офицер связи при штабе армии.

– Образование?

– Десятилетка и военно-химическое училище.

Отвечая на эти вопросы и зная, что ответы на них заранее хорошо известны председателю, Огарков даже чуть-чуть повеселел.

– Вы знали, какой приказ вы везете в свою дивизию? – нетерпеливо вмешался один из членов трибунала.

– Да.

– Я спрашиваю о содержании приказа. Знали вы его содержание?

Огарков, помолчав, ответил:

– Да, знал.

Председатель спросил неожиданно мягко и совсем по-граждански:

– А кто был ваш отец, Огарков?

Слово «был» вырвалось непроизвольно и заключало в себе нечто необычайно грозное для Огаркова. Огарков этого не уловил, однако, и сказал:

– Он инженер на заводе в Горьком.

Вскоре были вызваны свидетели. Лейтенант Синяев, не по-обычному хмурый и сдержанный, избегая глядеть на Огаркова, рассказал о том, как они ехали и где расстались. На вопрос о поведении Огаркова в пути следования он ответил:

– Дрейфил. Только я думал, что это от неопытности, молод еще...

– А вам-то сколько лет? – по удержался от вопроса председатель.

– Двадцать два года, – хмуро ответил Синяев, глядя в окно, и внезапно сказал: – И еще ординарца ему не дали. – Но, подумав мгновенно, он жестко добавил: – Все равно сдрейфил. Ведь рядом со штабом дивизии был, у хутора Павловского...

Майор из оперативного отдела кратко изложил обстановку, сложившуюся вчера на фронте, в связи с этим оттенил значение проступка, совершенного обвиняемым, и закончил словами:

– Мы потеряли эту дивизию.

После допроса свидетелей заседание было прервано. Обвиняемого отвели в землянку. Трибуналу принесли обед. Принесли обед и Огаркову, но есть ему не хотелось. Он сидел и думал о словах Синяева и майора из оперативного отдела, и эти слова странно смешивались у него в голове: мы потеряли эту дивизию, а ему ординарца не дали. И почему ему не дали ординарца, раз дивизия все равно потеряна?

Вот такие и разные другие мысли услужливо лезли со всех сторон, чтобы прикрыть, затуманить главную и самую страшную мысль.

Сидя в оцепенении на полу, он не сразу заметил другого человека, который лежал в самой глубине землянки и крепко спал. Только тогда, когда человек задвигался и приподнялся, Огарков обратил на него внимание.

Человек этот был в гражданской одежде. Оказалось, что он приговорен к расстрелу за дезертирство. Во время отступления он в какой-то деревне переоделся и ушел в сторону, но его задержали.

То был пожилой, волосатый, мрачный и грязный человек. Он курил толстые махорочные скрутки и без конца тупо повторял:

– А мне какое дело?...

– Почему вы так? – спросил Огарков.

– Не хочу воевать, – ответил приговоренный. – Я баптист, понимаешь? – И добавил: – Пусть немец приходит. Все одно.

– Как же так «все одно»? – ужаснулся Огарков. – Что вы говорите? Ведь они фашисты! Просто странно, что вы это говорите! Еще русский человек...

– А мне какое дело?... – сказал приговоренный.

«Сумасшедший он, что ли?» – подумал Огарков.

Вдруг глазки приговоренного по-звериному хитро засверкали, словно из глубин этого обезьяньего волосатого черепа с трудом и натугой вылушилась наконец одна человеческая мысль, и он спросил:

– А ты-то, советской, за что сюды попал?

Огарков растерялся. Сила и убедительность этого вопроса потрясли его.

Приговоренным, не дождавшись ответа, хрипло рассмеялся, потом быстро подполз к Огаркову и зашептал:

– Всех нас перебьют, – коли не немцы, то энти...

Тут Огаркова вызвали в трибунал. Стоя перед столом, он слушал слова приговора будто из далекой дали, и только последняя, заключительная фраза на секунду вывела его из состояния почти полного небытия. Фраза эта гласила:

«Приговорить бывшего лейтенанта Красной Армии Огаркова Сергея Леонидовича к высшей мере наказания – расстрелу».

Перед тем как отвести осужденного обратно в землянку, один из конвоиров, коренастый и молчаливый казах, сорвал с его петлиц кубики – знаки лейтенантского звания – и закинул их далеко в картофельные кусты.

Баптиста в землянке уже не было. Огарков сел на свою шинель, и долго его мысли вертелись вокруг да около той, главной мысли, которая еще не то что не доходила, а словно билась о его сознание, как волна о стеклянную перегородку. Эта спасительная стеклянная перегородка выросла вокруг самого центра сознания в момент, когда были произнесены те слова. Сквозь нее было видно, но она спасала от непосредственного взрыва боли, который неминуемо произошел бы при соприкосновении мягкой младенческой ткани сознания с бурлящей, горькой и смертельно-едкой волной главной мысли.

Но сколько ни думай о чем угодно и, в сущности, ни о чем – все эти мысли завершаются здесь, в землянке, и все равно ставится во всю гигантскую, до неба, высоту вопрос: что ты делаешь тут?

Все стало ясно, когда вспомнилась мать. Мать не должна была проникнуть за перегородку, но как только она проникла, все сразу стало ясно. Перегородка обрушилась. Что будет с мамой, когда она узнает о своем сыне, – не о том, что он погиб, а о том,

как он погиб, – вот что было важнее всего.

Он так зарыдал, что часовой, стоявший у входа в землянку, вздрогнул.

– Пустите меня! – крикнул Огарков вне себя. – Я должен им все сказать!

Он стал лихорадочно обдумывать, что такое ему нужно сказать своим судьям. Ведь он ничего им не сказал. Он ведь только бормотал что-то. Ведь нужно было ясно и понятно объяснить им, что он, Сережа Огарков, готов все отдать всем. И что он именно Сережа Огарков, а не кто-нибудь другой, посторонний. Они ведь не могут не понять, что это не то, что должно быть. Он потребует, чтобы его выслушали, не так просто, в какой-то избе, а по-настоящему.

Они не имеют права не выполнить его требование. Здесь Советский Союз, где каждый человек имеет право быть выслушанным.

Лицо Огаркова просветлело.

Пусть они наконец запросят его полк.

В конце концов он не офицер связи, а начхим полка. Пусть спросят у майора Габидуллина, у Кузина, у Дубового, у Вали.

Вспомнив свой полк, Огарков совсем ободрился. И мысль о том, что ни Вали, ни Кузина, ни Дубового, ни майора Габидуллина уже, может быть, нет в живых, подкралась к нему как-то незаметно и ошеломила его. Так о них, значит, именно о них и говорил майор из оперативного отдела, сказав: «Мы потеряли эту дивизию».

Только теперь эти, как казалось ему раньше, отвлеченные слова наполнились понятным и страшным содержанием. «Значит, это я убил вас, мои дорогие?» – шепотом спросил Огарков у медленно вставшей перед его глазами вереницы лиц и имен. Сильная, неудержимая дрожь стала бить его. Дрожь, впрочем, скоро унялась, сменившись мертвой оцепенелостью. Нет, он ничего не имел сказать трибуналу. Все, что произойдет, – должно произойти, потому что это справедливо.

#### Глава четвертая

Солдат Джурабаев – тот самый, что сорвал с петлиц Огаркова кубики, – стоял на часах возле землянки осужденного и приглядывался к окружающему миру не просто так, а с точки зрения часового. Большая курица с цыплятами, гуляющая неподалеку, его не касалась. Вороне, пронзительно орущей на верхушке тополя, не мешало бы и помолчать, находясь так близко к объекту охраны. Ветер, шуршащий в траве, несколько раз привлекал его внимание, но покуда это был только ветер и за шуршанием ничего не крылось.

Он прислушался к «объекту» – там было тихо. Осужденный не подавал признаков жизни.

Джурабаев был один из тех исполнительных, до щепетильности точных солдат, которые иногда кажутся туповатыми. Он попал в армейскую роту охраны недавно, после легкого ранения, и считал это неожиданным счастьем, потому что жизнь при штабе армии была куда более легкой и безопасной, нежели жизнь на передовой. Однако он помнил об оставшихся на переднем крае товарищах, которые были ничем не хуже его, – поэтому он не мог считать справедливым постигшее его счастье и старался компенсировать свою совесть беззаветной преданностью службе. Службе с большой буквы, выполняя устав до мельчайших тонкостей, не давая себе поблажек ни в чем.

Его неподкупность и молчаливая служебная исполнительность вошли у солдат в поговорку. Внешность его была под стать душе: он был приземист, сложен крепко и основательно, круглолиц и узкоглаз. Обладая силой буйвола, он был с товарищами кроток и обходителен той свободной и временами тонкой обходительностью, которая свойственна восточным людям и, может быть, берет свое начало в древней цивилизации Китая.

Он вполне прилично знал русский язык и любил читать русские книги – все равно какие: стихи так стихи, брошюры так брошюры, а попадет старая газета – так и газету. Однако он не ладил с грамматикой и, разговаривая, почти все слова склонял невпопад. Зная эту свою слабость, он был молчалив из самолюбия.

Заходило солнце, и Джурабаев определил, что смена ему будет приблизительно через час. Действительно, вскоре послышались шаги, и Джурабаев крикнул:

– Кто идет?



То не была смена. Подошедшую к землянке девушку Джурабаев несколько раз видел в трибунале и понимал, что она там служит. Но так как девушка шла одна, без разводящего, он не допустил ее близко.

– Товарищ часовой,– сказала она,– мне нужно вручить осужденному копию приговора. Я секретарь трибунала.

– Разводящий,– сказал Джурабаев.

– Да,– возразила секретарша,– но разводящий ведь при штабе в соседней станице...

– Разводящий,– повторил Джурабаев.

Секретарша стояла в нерешительности. Разводящий приезжает сюда на повозке для смены часовых не чаще одного раза в четыре часа, так как солдат в роте мало.

– Разве вы меня не знаете? – спросила она.

– Без разводящий нэльзя,– сказал Джурабаев, и она поняла, что спорить бесполезно.

Она уже собралась уходить, когда в небе раздался знакомый зловеший гул моторов. «Воздух!» – послышались крики. Земля затрепетала от разрывов. Удары следовали один за другим с адской быстротой, словно кто-то огромный быстро-быстро хлопал по земле гигантскими железными ладонями все ближе и ближе.

Девушка припала к земле, и так как единственным убежищем здесь могла служить землянка с осужденным, девушка поползла к ней, но ее остановил тихий и решительный возглас:

– Стой!

Она подняла глаза и, встретившись со взглядом часового, сочла за лучшее остаться на месте.

Самолеты, отбомбившись, вразброд улетали обратно на запад. Девушка поднялась, отряхнулась, негодующе посмотрела на невозмутимое лицо часового и пошла в деревню. На полдороге она встретила разводящего, который ехал к Джурабаеву на повозке. Секретарша уселась на повозку и поехала обратно к землянке, горько жалуясь на Джурабаева. Разводящий усмехнулся:

– Этот у нас такой... Родную мать не пустит.

Она вручила осужденному приговор. Осужденный, против ожидания, был спокоен, хотя и очень бледен. За несколько часов он невероятно осунулся и даже чуть постарел, вернее – повзрослел. Когда он расписывался в получении приговора, его рука дрожала самую малость. Девушка вышла из землянки с тяжелым чувством.

Джурабаев сидел на корточках и ел кашу. Разводящий курил, виновато вздыхал – он не привез смены: двое заболели, двое уехали за продуктами. Джурабаеву предстояло отбывать службу часового еще полтора-два часа, пока вернутся люди, посланные за продуктами. Еду для осужденного разводящий также не привез: он думал, по его словам, что того «вот-вот кокнут».

– Когда его? Скоро? – спросил он.

– Еще не утвердил Военный совет. Без утверждения нэльзя.

– И чего это с таким возьтятся! – сказал разводящий и посмотрел на Джурабаева.

Джурабаев разделил кашу на две части, отломил от своей «пайки» ломоть хлеба и, положив то и другое в крышку котелка, снес вниз, осужденному. Вернувшись, он быстро доел свой заметно уменьшившийся ужин и снова приступил к исполнению обязанностей часового. Разводящий же и секретарша уехали.

Через некоторое время снова появились над станицей немецкие самолеты и, сбросив несколько бомб, улетели. Воцарилась тишина.

Джурабаев чутко прислушивался к окружающему и вскоре уловил дальние выстрелы или, может быть, разрывы, хотя это было больше похоже на выстрелы. Ворона на тополе наконец замолчала, улетев или, возможно, заснув. Недалеко в густой пшенице раздавался тихий шорох – там возились суслики или полевые мыши. Все громче становилось стрекотание множества насекомых. Лунный серп выглянул из-за тополя и, с минуту помедлив, лениво пустился бежать мимо облаков, оставаясь на месте. Поскрипывали новые сапоги Джурабаева, на днях только полученные, – предмет его гордости и особых забот.

В деревне слышались встревоженные человеческие голоса, гудение автомашин, конское ржание, потом все умолкло окончательно, даже ветер затих.

Джурабаев вдруг испытал неизвестно чем вызванное чувство одиночества и полной покинутости. То было вначале инстинктивное чувство, которое он, однако, безуспешно старался подавить в себе. Причину этого он понял несколько позднее: сколько ни приходилось ему стоять ночью часовым, ни разу вокруг не царил такая необычайная, полная тишина; всегда были слышны голоса, ржание лошадей, то тут, то там из открытой на секунду двери в ночь вырывался кусочек света; теперь же все словно вымерло.

Тревога Джурабаева усилилась еще и оттого, что прошло часа два, а смена все не появлялась. Джурабаев не принадлежал к разряду тех людей, для которых минута кажется часом. Раз он уже определил, что прошло два часа, значит, прошло наверняка не меньше двух с половиной. А разводящий был человек точный и приехал бы в любом случае, хотя бы для того, чтобы сообщить: люди не вернулись, надо стоять еще час или два или до рассвета.

Не допуская мысли о халатности разводящего, Джурабаев постарался успокоиться на том, что он ошибся, прошло не два часа, а час, и некоторым усилием воли заставил себя вернуться к обычным мыслям о службе, то есть о том, что он охрипнет важного преступника, приговоренного к расстрелу, и ему поэтому надлежит быть начеку. Мысли посторонние – вроде мыслей о жене, детях, родных местах – он старался держать от себя на приличном расстоянии. Когда же он ловил себя на том, что думает именно об этих посторонних вещах, он сердито отряхивался и начинал еще внимательнее прислушиваться к ночным шорохам и дыханию осужденного в землянке.

Последний, условно второй, час Джурабаев старался растянуть как можно больше и таким образом простоял еще два часа. За это время случилось одно только происшествие: неподалеку, где-то за соседней деревней, где размещался штаб армии, слышалась ружейная и пулеметная стрельба и разрывы, частые и не очень громкие. Все это продолжалось минут десять с перерывами. Потом стало тихо.

Только тогда, когда над степью забрезжило утро, Джурабаев окончательно понял, что произошло нечто необычное. Солнце, вначале ярко-красное, постепенно стало раскаляться, белеть, и уже пригревало, когда Джурабаев услышал близкие человеческие голоса. Он встрепенулся и крикнул:

– Стой! Кто идет?

Из пшеницы вышла группа красноармейцев, среди которых были и раненые. Остановившись при внезапном окрике и разглядев Джурабаева, шедший впереди боец сказал:

– Чего кричишь! Не видишь разве, кто идет?

– Стой! – повторил Джурабаев.

Солдаты переглянулись и пожали плечами. Хотя их было много, а Джурабаев стоял один, он являлся часовым, то есть лицом неприкосновенным, человеком почти не от мира сего. Каждый из них тоже не раз бывал часовым и изведal чувство отрешенности и силы, даваемое часовому уставом. Поэтому они – правда, не без ворчания – послушно пошли вдоль полосы, обходя Джурабаева. Вскоре они исчезли.

Через некоторое время появилась еще одна группа, гораздо более многочисленная. Эта шла организовано, на повозках за ней следовали минометы, и шествие замыкала кухня. Впереди колонны шел ширококостый, немного брюзгливый майор с узкими раскосыми глазами, а за ним несли знамя, укутанное в серый чехол.

Остановленный окриком Джурабаева, майор пристально посмотрел на него и спросил:

– А что, тут в деревне часть какая стоит?

Джурабаев ничего не ответил, ибо знал устав.

– Что ты, глухой, что ли?

Джурабаев сказал:

– Проходы.

– Ты что здесь охраняешь? – не унимался майор.

Джурабаев угрожающе сжал шейку приклада.

Колонна прошла.

Тревога сдавила сердце Джурабаева. Он то отходил от землянки на несколько шагов ближе к станице, то снова подходил вплотную к черному отверстию землянки; он подымался на цыпочки, стараясь увидеть хоть что-нибудь за картофельным полем, за бахчой, полной арбузов и тыкв, за тополями, на которых уже снова орали вороны.

Потом, отчаявшись что-нибудь узнать и кого-нибудь дождаться, он замер, неподвижный и суровый, как изваяние, готовый ко всему и уже будто безразличный ко всему.

Он видел, как в станицу въехали пушки и тут же покинули ее, как поток людей уходил на восток, не задерживаясь. Проехали машины с ранеными. Пылили обозы. Люди то и дело показывались из пшеницы, брели по картофельным полям и пропадали из виду.

С запада, следом за уходящими войсками, медленно шло зарево: зажженные поля пшеницы и овса дымом и пламенем уходили к востоку, вослед пахарям и сеятелям своим. Тонкие дымки струились меж колосьев, обволакивали васильки, кружились вокруг подорожника и высоких стеблей бурьяна, а за дымками с негромким треском, похожим на треск лопающихся арбузов, шло пламя.

Джурабаев стоял, ожидая разводящего, который погиб уже несколько часов назад, отражая вместе со своими товарищами и штабными офицерами нападение прорвавшихся немецких танков. Танки эти дымились в семи километрах за станицей, но Джурабаев не мог их видеть. А штаб армии и все его отделы и управления были уже далеко и организовывали оборону на новом рубеже.

В полдень послышались короткие автоматные очереди, и Джурабаев увидел среди домов станицы перебегающих бойцов. Они бежали, падали, стреляли, вновь бежали и наконец исчезли.

Джурабаев спустился в землянку, поднял с полу крышку котелка, на которой лежала нетронутая каша и ломоть хлеба, положил все это в котелок, плотно закрыл его крышкой и сказал:

– Пошли.

Огарков медленно поднялся с земли и пошел к выходу.

– Шинель,– сказал Джурабаев.

Огарков послушно взял шинель, вышел из землянки и оглянулся на Джурабаева. Лицо солдата было сурово. Огарков вздрогнул, но взял себя в руки. Они вскоре очутились в небольшом яру. Здесь Огарков замедлил шаги, остановился и оглянулся.

– Иди,– сказал Джурабаев.

Огарков пошел дальше. Сначала он ни о чем не думал. Может быть, только удивлялся, почему его ведут так далеко. Потом он впервые обратил внимание на мир вокруг себя. Мир был прекрасен. Ветер шелестел в траве, над землей низко летали большие мохнатые бабочки. Вдали лаяла собака и пел петух. Вероятно, то был большой белый или черный, а может, и янтарного цвета петух с красным гребешком. Огарков вспомнил, что на свете есть петухи, собаки и бабочки.

– Иди,– сказал Джурабаев, заметив, что осужденный снова замешкался.

Солнце стояло посреди неба, и Огаркову, окоченевшему в сырой землянке, стало совсем тепло. Щебетали птицы.

Огарков вдруг подумал, что человек, идущий за ним, может выстрелить в любую минуту,– ведь не обязательно сначала остановиться, приготовиться, а потом уже кончать. Не смея оглянуться, Огарков все шел и шел, чуя холодок в затылке, словно под уже наведенным автоматом.

Но человек, шедший сзади, не стрелял. Они шли и молчали. Огарков шел все быстрее, с ужасом ожидая смертельного толчка. Наконец он услышал голос человека, шедшего сзади. Тот сказал:

– Стой.

«Конец», – не подумал, а почувствовал Огарков и остановился.

Минута прошла в тягостном молчании.

– Стреляйте же! – крикнул вдруг Огарков, не владея больше собой, и обернулся к своему спутнику.

Но Джурабаев не обратил внимания на этот возглас. Он прислушивался к чему-то, потом быстро сказал:

– Налево марш!

Огарков остался на месте. Он решил, что никуда дальше не пойдет. Пусть кончают здесь.

– Немцы,– сказал Джурабаев.

Огарков одно мгновение стоял в глубокой растерянности, потом огляделся, посмотрел на Джурабаева и свернул с дороги в высокую пшеницу. Они долго шли, пригибаясь, по полю и выбрались наконец на заросшую кустарником возвышенность. Здесь они остановились. Джурабаев снова прислушался, свирепо посмотрел на Огаркова, вздохнул и сказал:

– Иди.

И они пошли.

## Глава пятая

Беспредельная степь не имела зримых границ, а только звуковые – она была словно окаймлена пулеметной дробью.

Пшеница и ковыль, типчак и подсолнечник, картофельные И свекловичные поля, обширные бахчи, заваленные арбузами и дынями, опустевшие совхозные поселки и одинокие громады сахарных заводов – все это дремало под жарким солнцем, дичало от безлюдья и тревожно прислушивалось к пулеметной дроби, доносящейся со всех сторон.

Двое шли по степи, отбрасывая на пшеницу уродливые волнистые тени – одну длинную, другую короткую. Над ними пролетали стаи взволнованно орущих птиц, гонимых войной на восток.

Джурабаев иногда останавливался, застывал на месте, весь превращаясь в слух, потом опять пускался в путь, строго на северо-восток. Он не нуждался в компасе – степь была его родной стихией. В степи его деда пасли стада баранов с незапамятных времен. С самого раннего детства он уже бродил с отцом по пастбищам «киргиз-кайсацкой орды», среди белой полыни и зарослей тамариска.

Огарков вскоре страшно устал – не так от ходьбы, как от мыслей о своей вине и близкой смерти, верней – от подсознательной, но непрерывной напряженности и скованности духа. Однако ему казалось нелепым просить об отдыхе, когда его вот-вот ожидал неминуемый отдых на веки вечные. И он шел, прихрамывая, впереди Джурабаева.

Так они шли, почти не останавливаясь, двое суток.

К вечеру, когда солнце оказывалось сзади, Огарков видел возле себя тень Джурабаева. К этой тени Огарков вскоре почувствовал глубокую антипатию, почти ненависть. Не к Джурабаеву, а именно к его тени. К самому Джурабаеву Огарков не питал неприязни – конвоир делал свое дело. Но тень его, широкая, коротенькая, не отстающая ни на шаг, словно накрепко привязанная, приводила Огаркова в состояние бессильного раздражения, и он старался не смотреть на нее вовсе.

Во время кратких привалов Огарков спал, а Джурабаев сидел напротив него, положив автомат к себе на колени. Вначале это вызывало в Огаркове чувство досадливого презрения: солдат думает, что Огарков способен сбежать! Потом презрение сменилось удивлением. Солдат не спал. Его глаза – однажды Огарков осмелился посмотреть на Джурабаева в упор – покраснели и сделались еще уже.

«Он ведь может меня расстрелять, – подумал Огарков. – Почему он этого не делает?»

«Потому, что считает себя не вправе», – ответил сам себе Огарков и, почувствовав невольное уважение к своему конвоиру, сказал:

– Вы бы поспали, я не убегу... Обещаю вам.

Но Джурабаев продолжал сидеть неподвижно, словно не слышал сказанного.

К исходу вторых суток они начали обгонять мелкие группы отступающей пехоты и пристроились к хвосту одной из этих групп. Она приглянулась Джурабаеву потому, что шедший впереди лейтенант в немецкой плащ-накидке имел карту и вел себя спокойно и деловито.

Группа понемногу росла за счет присоединяющихся к ней одиночек и пар, и Джурабаев с Огарковым потерялись среди множества, не обращая на себя ничьего внимания. Они шли, не разлучаясь ни на минуту, рядом дремали на привалах, ели из одного котелка перепадавшую им пищу и молчали, не отличаясь этим, впрочем, от всех остальных.

Впереди группы уверенной походкой, чуть вразвалку, шел лейтенант в немецкой плащ-накидке. Несмотря на жару, он не расставался с этой накидкой. Видимо, он придавал ей какое-то особое значение – она была снята с убитого немца и символизировала смертность и обреченность всех врагов вообще, несмотря на их нынешний успех. И лягушечьего цвета плащ-накидка развевалась впереди как флаг, как знамя будущей расплаты.

Шли проселочными и полевыми дорогами, избегая большаков, потому что немцы наступали где– то совсем рядом: был слышен гул их танков и хрипение автомашин.

Лейтенант разбил людей на отделения, выслал дозоры вперед и на фланги. Парные дозоры шли по бокам колонны, на отдалении в двести-триста метров, то мелькая в пшенице и высокой траве, то исчезая за пригорками.

Однажды в парный дозор был выделен Огарков. Джурабаев не считал нужным давать многословные объяснения, а просто пошел вслед, и дозор двигался втроем, пока его не сменили. Люди привыкли видеть Джурабаева с Огарковым всегда рядом и иногда пошучивали по поводу такой неясной дружбы, что вымывало краску стыда на розовом лице Огаркова.

Джурабаев не спал. Он только дремал, очень чутко, ежеминутно приоткрывая узкие щелки глаз. Но это не могло продолжаться вечно. Однажды ночью он, забывшись, уснул. Огаркова разбудил его мощный храп. Стояла лунная ночь. В глубокой, поросшей орешником балке все спали, укрывшись шинелями. Только тихие голоса часовых раздавались неподалеку.

Огарков приподнялся, встал и посмотрел на освещенное лукой лицо Джурабаева.

Нет, Огарков не испытывал неприязни к Джурабаеву. Он даже был благодарен часовому за то, что тот не выдавал его тайну, не позорил его перед людьми. Но в этот момент, глядя на неподвижное лицо спящего, Огарков ощутил страстное желание избавиться от вечного соглядатая, не видеть его больше. Невдалеке раздались человеческие шаги, послышался тихий разговор. То подошла еще одна группа отступающих бойцов во главе с очень взволнованным и сильно охрипшим капитаном. Капитан поговорил с лейтенантом в немецкой плащ-накидке об общей обстановке. Огарков слышал их голоса. Капитан рассказал, что немецкая танковая колонна стоит поблизости, в двенадцати километрах, ожидая горячего.

– Разгромить ее, что ли? – спросил лейтенант, желая, кроме всего прочего, похвастаться перед капитаном боеспособностью своей группы и собственной решительностью.

Капитан не советовал. Танков было тринадцать штук, и при них человек сорок пехоты. Надо пробиваться к своим, не ввязываясь, по возможности, в бои.

Капитан и его люди пошли дальше. Вскоре послышался поблизости шелест раздвигаемых

веток орешника, и возле Огаркова остановился лейтенант в немецкой накидке.

– Пойдешь в разведку? – спросил он Огаркова.

– Пойду, – сказал Огарков, прислушиваясь к ровному дыханию Джурабаева.

Лейтенант вынул из планшета карту и объяснил Огаркову задачу. Надо идти в ближайшую станицу за два километра, выяснить там обстановку, а главное – узнать, заняли ли уже немцы две крупные станицы по пути предполагаемого следования группы. А если заняли, то сколько их там, немцев.

– Почему без оружия? – вдруг спросил лейтенант.

Огарков пробормотал что-то, косясь на спящего. Ему очень хотелось, чтобы Джурабаев не проснулся и чтобы этот спокойный и храбрый лейтенант ничего не узнал. Лейтенант протянул Огаркову свой автомат и, уже уходя, неожиданно осведомился:

– Ты не лейтенант ли часом?

– Нет, – сдавленным голосом ответил Огарков. – Почему, вы думаете?

Лейтенант усмехнулся:

– Следы от кубарей на петлицах... Да и выправка такая.

– Нет, – повторил Огарков. – Я не лейтенант. Гимнастерка только... лейтенантская...

– Ладно. Пошли.

Огарков пошел за ним, ступая тихо и осторожно и то и дело оглядываясь на Джурабаева. Треск каждого сучка болезненно отзывался в его душе.

Когда он очутился вне поля зрения Джурабаева и вместе с другим выделенным в разведку бойцом шагнул по шляху к деревне, он испытал состояние, близкое к блаженству. Луна заливала степь ровным светом. Тень идущего сзади молодого солдата была совсем не похожа на тень Джурабаева. Да и сам этот солдатик – белесый, немного озадаченный возложенным на него ответственным делом и робко жмующийся к Огаркову, назначенному старшим, – как он был не похож на угрюмого и молчаливого Джурабаева!

– Как ваша фамилия?

– Тюлькин, – ответил солдатик.

– А меня зовут Огарков.

Они пошли рядом.

– Вы много раз ходили в разведку? – спросил Тюлькин.

– Бывало, – неопределенно сказал Огарков, который в качестве старшего считал необходимым играть роль многоопытного солдата.

Помолчав, Тюлькин спросил:

– Плохо нам, а?

– Почему плохо? – успокоил его Огарков и дословно повторил слышанные недавно слова Синяева: – Они скоро выдохнутся... Силенок не хватит... Зарвались слишком.

– А скоро мы их?...– продолжал спрашивать Тюлькин.

– Это Москва знает,– ответил Огарков.

Они приближались к деревне. Заливисто лаяли собаки, раздавалось хлопанье дверей.

– Немцы в деревне,– прошептал Тюлькин.

Огарков угрюмо возразил:

– Не спешите делать выводы, пока не узнаете точно.

Они поползли задами к деревенским домам, обжигаясь крапивой и цепляясь за стебли огородных растений. Чем ближе подползали они, том ясней становилось, что в деревне действительно есть чужие. Но Огарков упорно двигался вперед, пока они не ткнулись в плетень. Здесь они притаились и прислушались. Ржали кони, и раздавались мужские голоса.

– Немцы! – с отчаянием прошептал Тюлькин.

– Проверить надо,– сухо ответил Огарков.

Вдруг послышался девичий смех и потом громкий женский возглас:

– Вася, а Вася! Воды принеси!

Не похоже было, чтобы в деревне стояли немцы. Обрадованный Тюлькин хотел выскочить за плетень, но Огарков и тут повторил вполголоса:

– Проверить надо.

Они поползли вдоль плетня и очутились у сарайчика. Невдалеке белела мазанка. Огарков сказал:

– Ждите меня.

Он пополз к избе, держась в тени росших здесь кустов смородины. Притаился под одним из маленьких окон. Прислушался. Разговаривали по-русски.

– Лейтенант приказал строиться,– произнес мужской голос.

– Значит, пошли,– сказал другой.

– Дай вам бог дойти счастливо и вернуться поскорее,– отозвался женский голос.

– Авось и возвратимся, мамаша,– сказал кто-то из мужчин.

«Свои»,– понял Огарков. Очевидно, это была такая же группа красноармейцев, как и та, которой командовал высланный Огаркова лейтенант. Огарков смутно пожалел о том, что это не немцы. Окажись в деревне немцы, он вступил бы в неравный бой и был бы убит вражеской пулей. «Какое это счастье,– подумал он,– быть убитому не своей, а вражеской пулей».

Но ведь можно было просто уйти с этой группой. Раз Джурабаев все равно ему не верит, стережет его, как замышляющего побег преступника,– почему же ему действительно не уйти?

«Наверное, он уже проснулся,– подумал Огарков с ненавистью,– и бежит сюда по следам, как сторожевой пес...»



«Где он меня будет искать? – подумал Огарков минутой позже.– Уйти, растаять в степи, потеряться в ней, как пылинка... А Тюлькин? Что Тюлькин! Подождет и пойдет обратно».

Но при воспоминании о молоденьком солдате, который так верил в его непогрешимость и военный опыт, Огарков отказался от мысли об уходе. Нет, он не мог, не в силах был обмануть доверие Тюлькина и заслужить презрение лейтенанта в немецкой плащ-накидке.

Шаги солдат пропали в отдалении, а Огарков все еще лежал на траве возле окошка и не трогался с места. Снова вспомнив об ожидающей его участи и ощутив при этом страшный холодок в затылке, он опять начал колебаться. Какое ему дело, думал он, до Тюлькина и того лейтенанта, до их уважения и презрения? Кто они? Случайные люди, встреченные на этом мучительном пути и готовые снова кануть в неизвестность. И, однако, именно доверие к нему этих случайных людей в гораздо большей степени, нежели страх перед степным чутьем и упорством Джурабаева, заставило Огаркова встать и вернуться к Тюлькину, который страшно обрадовался возвращению товарища.

Они снова двинулись задами параллельно деревенской улице, иногда перелезая через плетни и увязая сапогами в жирной земле огородов. У самой крайней избы, стоявшей немного на отлете, – позади нее выстроились низкие ульи, – Огарков остановился и сказал:

– Зайдем сюда.

Он постучал в окно и в ответ услышал стариковский сиплый голос:

– Кто стучит?

– Свои, – сказал Огарков. – Откройте, пожалуйста.

Вежливое обращение и робкий голос, видимо, успокоили хозяина. Заскрипела щеколда, и на пороге появился маленький, босоногий, сухой старичок, похожий, как показалось Огаркову, на Льва Толстого.

Нет, немцев в деревне не было. «Еще не было», – сказал старик, подчеркнув слово «еще» без желания уколоть отступающих солдат. Со слов односельчан и пришлых людей он сообщил о том, что немцы находятся в станице за девять километров.

Что касается тех двух станиц, которые особенно интересовали лейтенанта в немецкой накидке, то и там уже стояли немцы, вернее, не немцы, а итальянцы, «итальяшки, – как их назвал старик, – черненькие такие, глазастенькие, и откуда они только взялись, и зачем только сюда приперлись...»

– Вроде военное счастье на немца перешло, а? – спрашивал старик тревожно, однако ж выражаясь с витиеватостью, выдававшей в нем старого солдата или даже, может быть, унтер-офицера. – Имеет преимущества немец-то, а? – Заметив сумрачный вид молодых солдат и то ли пожалев их, то ли считая своим долгом более бывалого человека успокоить молодежь, он после краткого раздумья сказал поучающе: – Однако как муравью колоду не уволочи, так и немцу России не завоевать.

Он угостил их молоком и медом и, уловив глубокое уныние в глазах Огаркова, сказал, обращаясь к нему:

– Не горюй, парень. Ты еще так немцев будешь бить, мое почтение. Все твое еще впереди.

Мед показался горьким Огаркову. Он стремительно встал со стула и сразу же попрощался с бойким стариком. За ним поднялся и Тюлькин. Старик проводил их до крыльца, продолжая оживленный разговор.

Только тогда, когда молодые солдаты скрылись из виду, старик потерял свою живость и долго еще стоял на крыльце, маленький и печальный, горестно вздыхая и тревожно прислушиваясь. Ибо так или иначе, а немцы были близко.

Молодые солдаты тем временем быстро шагали к себе в лагерь, восхищаясь бодростью старика и радуясь успешной разведке.

Уже у самой балки Огарков встретил Джурабаева. Тот медленно шел ему навстречу, настороженный и взволнованный. Увидев Огаркова, он замер на месте, а встретившись с ним взглядом, опустил глаза. Он ничего не сказал. Его лицо, обычно суровое и спокойное, на мгновение приобрело наивное выражение удивления и признательности.

Доложив лейтенанту добытые им сведения и вернув ему автомат, Огарков с тяжелым сердцем возвратился к ожидавшему его Джурабаеву – снова под надзор. Но уже не тот был надзор и не тот Джурабаев. Теперь они шли рядом, и так же рядом шли их тени. Часто к ним присоединялся Тюлькин, сильно привязавшийся к Огаркову. Молодой солдат не уставал превозносить решительность и воинское умение Огаркова, не обращая внимания на то, с каким странным выражением лица, недоуменным и тревожным, слушает его молчаливый казах.

Лейтенант решил создать отделение разведчиков и командовать им назначил Огаркова.

– У меня командного опыта нет, – пробормотал Огарков. – Я химик.

– Ничего, – возразил лейтенант. – Научишься. На, возьми. – Он сунул Огаркову в руки немецкий автомат.

Огарков вопросительно посмотрел на Джурабаева. Тот молчал, потупившись.

Лейтенант отошел, и, когда его зеленый плащ уже мелькал вдали, Огарков громко и жалобно крикнул:

– Я не могу командовать отделением!

Но лейтенант не слышал или не подал виду, что слышит.

Огарков молча пошел с Джурабаевым, неся автомат в руках впереди себя, как чужую хрупкую вещь. Вскоре руки устали, и он, покосившись на Джурабаева, надел автомат на ремень.

Джурибаев вдруг спросил:

– Комсомолец был?

Огарков ответил:

– Да.

– Ай-ай-ай!... – сокрушенно закачал головой Джурабаев, выражая этими звуками и порицание, и удивление, и жалость.

## Глава шестая

Командовать отделением Огаркову не пришлось. Группа выбрались из немецкого кольца и вскоре пришла в большую станицу, где находилось множество советских частей.

Во дворе МТС, среди наполовину разобранных тракторов и грузовых машин, обосновался формируемый пункт. Седой батальонный комиссар с квадратным лицом принимал прибывающие группы отходящей пехоты и наскоро сколачивал роты и батальоны. Он сидел у маленького столика посреди двора, что-то записывал в полевую книжку и распоряжался громким строгим голосом.

Неподалеку на грузовике стояли два лейтенанта. Они раздавали солдатам сформированных рот патроны, гранаты, сухари и консервы.

Огаркову очень хотелось попасть под начало лейтенанта в немецкой плащ-накидке, но тот куда-то исчез, и глаза Огаркова напрасно шарили по огромному двору, переполненному людьми. Джурабаев переживал душевную борьбу. Он считал своим первейшим долгом доставить осужденного в штаб армии. С другой стороны, нельзя было так просто уйти с этого двора, где сколачивались ударные роты для особого задания. Пока он раздумывал, его с Огарковым назначили в одну из рот, они двинулись вслед за остальными к грузовику, получили патроны и гранаты и вышли за ограду, где их ожидала целая шеренга грузовиков.

Вскоре к ним вышел седой батальонный комиссар с квадратным лицом. Он постоял минуту молча, потом хмуро сказал:

– Почему вы такие хмурые? Веселее надо! Кто вы – солдаты или кто вы такие? Нечего хмуриться, вот что!

Батальонный комиссар явно не отличался красноречием, но солдаты почувствовали за его словами еще многое другое и заулыбались со смущением, свойственным взрослым людям, когда их жалеют.

Колонна грузовиков покатила по черной степной дороге на юго-запад. Ехали часа три, затем остановились возле какой-то деревеньки, лежавшей в овраге с пологими, сплошь под огородом, скатами. Здесь грузовики повернули назад, а люди двинулись дальше пешком вскоре очутились на возвышенности, где среди колосьев пшеницы чернела свежерытая траншея.

Получив приказ углубить мелкую траншею до полного профиля, солдаты стали рыть землю – кто большими, кто малыми саперными лопатами. Дно траншеи стелили для маскировки колосьями, колосьями же покрывали черные земляные брустверы. Работали почти молча, лишь время от времени перекидываясь ничего не значащими словами насчет жары и хорошего, но бесполезного теперь урожая.

Курносый лейтенант, оказавшийся командиром роты, вылез на бруствер и озабоченно оглянулся. Вздернутый нос и рыжий вихор придавали ему мальчишеский, несерьезный вид. Стоя с биноклем среди высоких колосьев, он выглядел как мальчик, играющий в войну. Он повернулся к солдатам, сидящим в траншее, и спросил:

– Кто умеет косить?

Косарей нашлось много. Махнув рукой в сторону дремучей пшеницы, лейтенант сказал:

– Все это скосить надо. Из за нее ничего не видать. Сходишь в деревню за косами, – приказал он старшине.

Старшина взял с собой двух солдат, пошел напрямик через поля вниз, в овраг, и вскоре вернулся с косами. Косари сняли и сложили в кучу гимнастерки.

– Начинай, – командовал лейтенант.

Дюжина кос одновременно сверкнула в лучах солнца. Руки косарей плавно вздымались и

опускались, подчиняясь бессознательному древнему ритму труда. Лица косарей были сосредоточенны и строги. Солдаты глядели из траншей на падающие пласты колосьев с глубоким интересом. Все вдруг забыли про войну и про то, что колосья эти будут растоптаны и сгниют под осенними дождями. Косари шли полосой свободно и важно, – может быть, им казалось, что сзади идут бабы со свяслами.

Они уходили все дальше, оставляя за собой ровные ряды скошенного хлеба.

– Товарищ лейтенант, – взмолился кто-то из траншей, – так они все скосят, нам ничего не оставят. Дозвольте сменить...

Глаза сменщиков, уже снявших гимнастерки, блестели.

– Ой, хлеба! Ой, хлеба! – восхищенно крикнул кто-то из них, потирая руки.

Они пустились бегом к косарям, почти насильно отобрали у них косы и пошли косить дальше. А первые косари, полуголые, потные, улыбающиеся, медленно двинулись назад, к траншее.

Чем ближе подходили они, том явственное сползала с их лиц улыбка, словно пропадало какое-то очарование: то испарялось светлое воспоминание о мирных днях и вступала в свои права война, ощеренная пулеметными и ружейными стволами на черном бруствере. Они шли по обреченному хлебу, остановились возле траншеи, молча надели гимнастерки и спрыгнули вниз, превратившись снова из землепашцев в солдат.

Но так или иначе, а впереди расстилалась открытая, хорошо простреливаемая местность.

Немцы подошли на рассвете. Крича: «Рус, сдавайся!» – они пошли вперед, но сразу же залегли под градом пуль. Лежа, один из них снова крикнул пронзительным голосом:

– Рус, сдавайся!...

– А хрена не хошь? – зычно осведомился у немца чей-то озорной голос.

В траншее раздался негромкий и не очень веселый смех, заглушенный выстрелами.

Немцы отползли в пшеницу и стали там окапываться, не прекращая стрельбы из винтовок и подоспевших вскоре минометов. Появилась через некоторое время и вражеская авиация, по преимуществу разведчики, которые снижались над советскими позициями и осыпали траншеи пулеметными очередями.

Потом появились бомбардировщики. Когда раздалось гудение их, в траншее стало очень тихо. Опасливо поглядывая вверх, люди устраивались поудобнее, стараясь занимать как можно меньше места. Земля загудела и запрыгала. Послышались стоны раненых, змеиный шип осколков. Снова и снова самолеты заходили на цель, а когда они улетели, минометный и ружейный обстрел показался детским лепетом и почти полным покоем.

После бомбежки немцы вновь полезли вперед, и вновь их остановила своим огнем ожившая траншея. Тогда опять появились бомбардировщики и одновременно с ними заработала немецкая артиллерия – сначала одна пушка, потом штук пять. По мере подхода орудий плотность артиллерийского огня становилась все выше. Обозленные непредвиденным сопротивлением на безымянной высоте, немцы, казалось, решили начисто смести с лица земли не только узкую траншею с людьми, но и вообще все поля, луга и деревни этого края.

Джурабаев заменил у «максима» убитого пулеметчика, который лежал тут же рядом, под плащ-палаткой. Огарков стоял возле него с автоматом, и ему в этой жаре и трупном запахе казалось, что он – совсем не он. И мучается он здесь вместе со всеми потому, что некий офицер связи Огарков, посланный передать им приказ об отходе, струсил, и они тут все

погибнут из-за него. И он с тоской и ненавистью думал об этом офицере, – об Огаркове, – о себе самом.

В третий раз немцы пошли в атаку, и в третий раз заработали оглушенные, но все еще живые русские огневые точки. Цепкие большие руки Джурабаева мелко дрожали на ручках пулемета, и лента мелькала, жадно поедаемая приемником. И снова немцы попятились и исчезли в пшенице, оставив на скошенном поле своих убитых.

Связь была порвана снарядами и бомбами так основательно, что восстановить ее можно было только ночью, когда прекратится прицельный огонь немцев. Курносый лейтенант после тщетных попыток связаться по телефону со штабом батальона решил послать в деревню посыльного. Он остановил свой выбор на Огаркове, потому что молодой солдат все выполнял точно и быстро и показался ему толковым и славным парнем. Он приказал Огаркову ползти в деревню, передать сведения о потерях, просьбу о пополнении и об эвакуации раненых.

Огарков вылез из траншеи и пополз. Немцы били из минометов по полям, простирающимся между позициями и деревней. Поля были изрыты воронками.

Деревня горела в нескольких местах и была почти вся разрушена.

В штабе батальона на стене висели ходики. К удивлению Огаркова, они показывали всего одиннадцать часов утра, – значит, бой длился часа четыре, не больше, а казалось, что он длится век.

– Передай, чтоб держался, – сказал комбат. – До вечера чтоб держался. А вечером пришлем еще людей и восстановим связь.

Огарков переждал очередной налет бомбардировщиков и медленно двинулся назад, к полю боя. Издали все представлялось еще страшнее, чем на месте. Казалось, поле встало дыбом, и трудно было поверить, что кто-нибудь там еще жив.

Огарков остановился на бахче, разбил и съел один арбуз, а два других взял с собой – люди в траншее страдали от жажды, особенно мучились жаждой раненые.

Возле траншеи его догнал комиссар батальона со связным.

– Ты чего арбузы тащишь? Тоже нашел время! – злобно сказал комиссар Огаркову.

– Для раненых, – объяснил Огарков.

– Это правильно, – сказал комиссар и пошел дальше.

Спустившись в траншею, Огарком сунул Джурабаеву в руку кусок арбуза, а остальное роздал раненым. Потом он пошел докладывать курносому лейтенанту о распоряжениях комбата и снова вернулся к Джурабаеву. Стало тише. Пули над головой посвистывали реже. Курносый лейтенант неторопливо прошелся по траншее. Он остановился возле Огаркова и сказал:

– За образцовое выполнение боевой задачи объявляю вам благодарность. Как твоя фамилия?

Огарков смешался, губы его внезапно задрожали, и он не мог вымолвить ни слова.

– Огарков, – услышал он возле себя голос Джурабаева.

Командир роты сказал:

– И насчет арбузов ты хорошо придумал, Огарков. Как стемнеет, пошлем людей за арбузами.

Покажешь им место.

Лейтенант ушел, а Огарков вдруг оживился, стал очень разговорчив и даже весел, начал расспрашивать солдат о семьях, детях, матерях. Рассказал он и о своих родных, проживающих в городе Горьком.

– Отец у меня инженер, – сказал он, – и к тому же еще рыболов-любитель. Каждое воскресенье мы выезжали на лодке рыбу ловить. Обычно мы ловили удочками, но случалось и бреднем ловить. Бреднем все-таки не так интересно...

– Почему не интересно? – спросил пожилой солдат. – Только бреднем и ловить... Потому бреднем много наловишь, а удочкой что?... Морока одна...

– Не говорите, – возразил Огарков. – Бреднем – это ловля наверняка, почти убийство, а удочка – спорт. – Помолчав, он добавил: – Иногда и мать ходила с нами удить.

Вскоре немцам под прикрытием орудий и минометов удалось приблизиться метров на двести к траншее и окопаться на скошенном поле. Курносый лейтенант, очень обеспокоенный этим, решил контратаковать и выбить немцев из новых позиций.

С трудом отрывая тела от спасительной прохлады окопа, люди полезли на бруствер. Раздался громкий крик «ура». Огарков тоже кричал без умолку «ура», сам не замечая того. Зычный и озорной голос, неизвестно кому принадлежавший, с бесконечным восторгом повторял:

– Фриц, сдавайсь!

Немцы побежали на старые позиции в пшеницу. В свежестрытых окопах валялись гранаты с деревянными ручками, ломти белого хлеба, оранжевые коробки с маслом и фляжки с дешевым, но крепким ромом. Захватили и оставленный немцами ручной пулемет и, торжествуя, вернулись в свою траншею – узкое, длинное логово, показавшееся теперь обжитым и дорогим, как родной дом.

Во время контратаки был ранен в обе ноги курносый лейтенант. Он потерял пилотку и лежал теперь в траншее с обнаженной рыжей вихрастой головой и сморщенным от боли лицом, еще больше похожий на мальчишку.

Немцы уже не пытались наступать. Их авиация тоже не показывалась, только одиночные разведчики иногда гудели в голубой вышине, поблескивая на солнце металлическими плоскостями.

Вечером прибыл приказ отходить.

Когда стемнело, люди тихо оставили траншею, миновали разрушенную и со всех сторон горевшую деревню и пошли на восток.

Старшина роты, замыкавший шествие, сложил у крайней избы дюжину взятых взаймы кос. Курносый лейтенант ехал впереди роты на повозке, распорядясь и давая многословные инструкции другому лейтенанту, который должен был заменить его.

Лишь здесь, на дороге, стало заметно, как сильно поредела рота. Однако Огарков все еще находился в радостном и возбужденном настроении.

– А все же мы их здорово били, – говорил он. – Крепко повоевали ведь, правда? Бесстрашные мы люди, – верно ведь?

Солдаты, смертельно усталые и дремлющие на ходу, беззлобно отмахивались от него:

– Да ладно, будет тебе...

В полночь Джурабаев, несколько приотстав вместе с Огарковым от остальных, сказал:

– Штаб армия нада.

Огарков остановился как вкопанный, потом опустил голову и пошел дальше сразу отяжелевшим шагом. Они еще некоторое время шли за ротой, прошли мимо каких-то частей, занимавших оборону вдоль дороги, затем свернули на полевую тропинку и остались одни.

## Глава седьмая

Что заставило Джурабаева решиться на этот шаг? Страх перед собственной жалостью. Его служба и долг – и это он знал твердо – заключались в том, чтобы привести осужденного туда, куда нужно, и передать его в распоряжение Военного Трибунала. После боя он стал колебаться в своем решении, сомневаться в своем долге. Он полюбил Огаркова. И, почувствовав это, решил принять меры немедленные и жестокие.

Рослого белокурого юношу и коренастого узкоглазого солдата видели в степи многие. Их видели сидящими у дороги, поедающими арбузы и помидоры, спящими рядом на одной шинели под каким-нибудь одиноким деревом или среди колосьев и васильков в открытом поле. В огромном потоке отходящих частей они продолжали свой особый путь на восток, расспрашивая связистов и регулировщиков о местонахождении энской армии.

Их задержали в небольшом степном городе О., на железной дороге между Тацинской и Сталинградом.

Огарков, очутившись в городе после многодневных скитаний по степи, почувствовал себя почти счастливым. Он сам не подозревал раньше, что означает для него город. Растроганно улыбаясь, смотрел он на тротуары, на газетные киоски, на каменные дома и вывески. Станционный колокол, черные формы железнодорожных служащих, женщины в городских платьях, некоторые даже с зонтиками, – все это вдруг вернуло его в милый мир привычных представлений о жизни.

Не хотелось уходить из города, но Джурабаев торопился и сурово торопил товарища, умиленно глазевшего на вывески и витрины магазинов.

На окраине их задержал патруль. Напрасно Джурабаев пытался объяснить патрульному сержанту, что они направляются в свою часть. Их повели в комендатуру и назначили в саперный батальон, который направлялся на юго-западную окраину города для рытья окопов и минирования дорог.

Тогда Джурабаев решил покончить с этим делом раз и навсегда и сдать Огаркова коменданту. Взволнованный до глубины души, он стал медленно подбирать слова для объяснения дела, но комендант был грозен, нетерпелив, окружен целой толпой кричавших людей и не обратил внимания на робкие попытки узкоглазого солдата дать какие-то никому не нужные объяснения.

Их повели в батальон.

Со смешанным чувством досады и глубоко спрятанного удовлетворения воспринял эту новую перемену Джурабаев.

Он напал на след: некий капитан сказал им, что штаб эн-ской армии находится довольно близко, километрах в тридцати к северо-востоку. Казалось, странствиям наступает конец. И вдруг – этот саперный батальон.

Однако рядом с Джурабаевым бодро шагал Огарков, несомненно обрадованный отсрочкой своей участи. И Джурабаев втайне радовался вместе с ним, хотя и упрекал себя за это.

Батальон вышел к месту работы, и Огарков оживленно расспрашивал бывалых саперов о технике их профессии, интересовался названиями и свойствами разных мин нажимного и натяжного действия, любовался изящно упакованными пачками смертоносного тола и невинными на вид мощными взрывателями. Казалось, он всю жизнь только и мечтал о том, чтобы стать сапером.

Очутившись на окраине города, минеры стали закладывать противотанковые и противопехотные мины, укреплять надолбы, рыть контрэскарпы и ловушки для танков.

Пожилой, давно не бритый комбат, сам, сидя на корточках, пыхтел над минами, ласково беседуя с ними, как с живыми существами:

– Вот так ты и лежи, голубка... Тут тебе и место, радость моя... Теперь мы тебя засыплем песочком и заровняем, заровняем... Чтoб никому невдомек. А потом – бух!...

Он подымался, окидывал своих саперов вдруг погрустневшим взглядом и говорил ожесточенно:

– Ну, что у вас там еще за гостинцы?! Ну, вынимайте, давайте...

Огарков старался выполнять все приказания быстро и точно, и саперы – в том числе и сам комбат, – польщенные вниманием и старательностью своего ученика, относились к нему с дружественной, чуть снисходительной симпатией, как к новообращенному из химической в саперную веру.

Среди саперов оказался один земляк Джурабаева, казах. Он подсел во время перерыва к Джурабаеву, и они долго говорили по-казахски. Огарков удивился даже – он никогда не подозревал, что его спутник может быть таким разговорчивым. Ни слова не поняв, Огарков уловил, однако, что говорили они и о нем.

Действительно, сапер-казак сказал казаху-стрелку, что этот высокий славный юноша всем здесь пришелся по душе своим открытым нравом и честной работой. На это казах-стрелок ответил после непродолжительного молчания, что саперы нисколько не ошиблись и что молодой человек – хороший человек и его, Джурабаева, друг; а пробираются они вдвоем к месту своей службы, в штаб армии, куда им необходимо прибыть как можно скорее. Потом оба казаха поговорили о своей родине, Казахстане, и их замкнутые лица просветлели.

Огарков сказал Джурабаеву:

– Хорошие ребята минеры, правда? Здесь бы и остаться с ними.– И, умоляюще посмотрев на своего товарища, быстро заговорил: – Останемся с ними, а? Мы ведь большую пользу принесем! Это же такое важное дело – подрывать вражеские танки,– как вы думаете? И комбат тут такой душевный человек...

Джурабаев ничего не ответил, только покачал головой.

После окончания работ саперов отвели в станицу за восемь километров, в резерв. Там их разместили по избам и разрешили отдыхать. Огарков сразу же уснул, но Джурабаев не мог заснуть. Он глядел на спящего, шевеля губами. Потом он тихонько вышел из избы и направился в соседнюю избу, где разместился штаб батальона. Минут пять стоял он у



крыльца, не решаясь войти. Затем все-таки вошел.

Никто не слышал, о чем Джурабаев говорил с комбатом, дежурный сапер уловил только заключительные слова комбата, произнесенные задумчивым и невеселым голосом:

– Ну что ж, голубчик, поделаешь... Идите, раз такое дело...

Вернувшись к Огаркову, Джурабаев разбудил его, и они вдвоем покинули деревню.

Огарков шел молчаливый и угрюмый. Молчалив и грустен был и Джурабаев. Может быть, надо было остаться у саперов? Неплохо было бы и остаться. Там и земляк, с которым можно поговорить...

Следующей ночью они увидели перед собой Дон. Он блестел при свете луны, струясь среди обрывистых берегов. Над рекой царил неумолчный шум. По переправе непрерывной лентой шли к востоку машины, пушки и люди. Берег ощерился дулами зенитных орудий.

В траве, в пшенице, в овсе, возле мельниц и вокруг мощных элеваторных башен, всюду, куда доставал глаз, лежали люди, паслись кони, стояли машины и повозки. Все ждали своей очереди, с беспокойством глядя в ночное небо. Недалеко в поле догорал недавно сбитый немецкий самолет.

Джурабаев решил переночевать в ближней станице, ниже по течению. Белые хаты станицы были отчетливо видны в лунном свете.

Пошли туда. Все дома и дворы были полны солдат, спавших где попало. Наконец их пустили в один дом. Здесь было светло от щедро горевшей под потолком лампы-«молнии». На полу и на лавках спали солдаты, однако еще оставалось место и для двух новых пришельцев.

Хозяйка, молодая женщина, закутанная в большой черный платок, так что только глаза поблескивали, угостила вновь прибывших молоком и присела на лавку. Джурабаев сразу уснул, Огарков же остался сидеть, бездумно глядя на маленькие загорелые ножки хозяйки – она была босиком.

Ей, видимо, хотелось поговорить, но она не решалась.

Из соседней комнаты, откуда-то сверху, слышался слабый старушечий голос:

– Мария!

Женщина вышла, вскоре вернулась и снова села на лавку, оказав:

– Вы, наверное, спать хотите?

– Нет,– ответил Огарков,– я спать не хочу.

– И долго еще так будет? – без предисловия начала она, словно ее прорвало.– Страшно мне. Одна я с мамой, а она у меня парализованная. Третий год на печке лежит. У нас все почти ушли за Дон, скотину угнали, а я куда денусь?... Я бы ушла, а с мамой как? Она не хочет уходить. Говорит, чтоб сама и ушла, а она останется. А как я уйду? – Помолчав, она спросила: – Вы, может, спать ляжете?

– Нет, спасибо,– сказал он.– Я спать не хочу. Избу оглашал тихий храп.

– Муж у меня убит еще в прошлом году, при самом начале,– продолжала женщина.– Он на границе служил, в Бессарабии. Тоже был такой, как вы, светлый, городской тоже, из Майкопа. Мы жили в совхозе... Страшно мне,– неожиданно закончила она, и он посмотрел на нее.

Платок ее упал на плечи, и он увидел круглое, молодое, красивое лицо, две черные толстые косы и строгий прямой пробор посередине головы. Черные глаза под тонкими бровями глядели на Огаркова, не видя его, с выражением недоумения и страха. Руки ее беспомощно лежали на лавке ладонями кверху.

Ее глаза потускнели, и она спросила в третий раз:

– Спать будете?

– Нет, – ответил Огарков. – Я не буду спать.

Тогда она взглянула на него очень внимательно и почувствовала, что у гостя на душе тоже тяжело. Он стал ее утешать, но смысл его слов странно не вязался с тоскливым выражением глаз.

– Это ненадолго, – сказал он

. – Скоро мы... – Он хотел сказать: «Скоро мы вернемся», но поправился: – Скоро наша армия вернется.

– Мария, – позвал старушечий голос из соседней комнаты.

Мария вышла, и ее легкие шаги послышались где-то в сенях, потом хлопнула дверь раз и другой, и женщина вновь вернулась к Огаркову.

– На западе все горит, – сказала она.

Кто-то тревожно забарабанил в дверь, и солдат с винтовкой и вещмешком, войдя, торопливо растолкал спящих:

– Кто из второй роты – выходи!

Солдаты вскакивали, заправлялись и уходили. Проснулся и Джурабаев.

– Пойдем? – спросил он.

Огарков покорно поднялся. Поднялась со своего места и женщина. Джурабаев вышел на улицу. Огарков протянул женщине руку. Она сказала:

– Вернетесь когда – заходите в наши края, коли вспомните.

– Хорошо, – ответил он. – Если вернусь.

– Вернетесь, – сказала она убежденно.

Он вышел. Луна скрылась, было совсем темно. Женщина, появившись в дверях, сунула Огаркову в руку ситцевый мешочек.

– Не надо, – сказал он смущенно.

Они постояли рядом, внезапно почувствовав боль при мысли о скором конце их случайного знакомства.

Он пошел вслед за Джурабаевым, который ждал его у дороги.

Когда они прошли уже половину пути к переправе, в небе раздался гул. Заговорили зенитные орудия на берегу и одна батарея, стоявшая в овраге неподалеку. Над рекой повисли большие ослепительные фонари, и вокруг стало совсем светло. У переправы начали рваться бомбы.

Огарков с Джурабаевым прижались к земле. По соседству разорвалась бомба, и над головой жутко пронесся самолет, крестя дорогу пулями.

Огарков лежал, уткнувшись лицом в мягкую и горькую траву. Когда стало тихо, он приподнялся. Небесные фонари медленно угасали. Возле переправы слышны были крики и стоны. Взбесившаяся лошадь промчалась мимо.

Вскоре Огарков заметил, что Джурабаев лежит неестественно тихо и неподвижно. Огарков подождал минуту, потом наклонился к своему спутнику и заглянул ему в глаза. Глаза Джурабаева смотрели на Огаркова с немым вопросом. Огарков медленно встал, снова нагнулся и снова встретил вопрошающий взгляд Джурабаева.

– Держитесь за меня,– сказал Огарков.

Только теперь Джурабаев застонал. Его гимнастерка была вся в крови.

Огарков потащил раненого назад, к станице. Когда они доползли до околицы, на переправу опять налетели немецкие самолеты, захватив краем и северную оконечность станицы. Что-то загорелось там, самолеты ушли, Огарков снова поволок Джурабаева и наконец постучался в дверь к Марии.

Мария открыла и, не задавая никаких вопросов, помогла Огаркову втащить и уложить Джурабаева на лавку. Она маленькими шершавыми ручками быстро сняла с Джурабаева гимнастерку и нижнюю рубаху. Джурабаев был ранен в спину, пуля прошла навывлет к грудь.

Приложив к ранам Джурабаева мокрое полотенце, Мария сказала:

– Доктора нету, он эвакуировался с колхозом.

Огарков вышел из избы и побежал к оврагу, где заметил раньше зенитчиков. Путаясь в росшей по склону оврага высокой траве, он пробрался наконец к артиллеристам.

– У вас врача нет? – громко спросил он.

Зенитчики были очень заняты – в воздухе опять зажглись зловещие фонари и послышался гул самолетов. Однако капитан-артиллерист, выслушав Огаркова, отпустил с ним девушку-фельдшера с санитарной сумкой.

– Только не задерживайте ее, лейтенант,– сказал он Огаркову, почему-то в темноте приняв его за лейтенанта.

Началась бомбежка. Огарков, держа девушку за руку, бежал обратно в деревню.

– Ну и бешеный же вы! – жаловалась девушка, еле поспевая за Огарковым.– Разве можно бежать под бомбежкой? Отпустите же меня, у меня рука заболела.

Наконец они, запыхавшись, вбежали в избы.

Джурабаев громко стонал.

Девушка фельдшер осмотрела его, засыпала раны белым порошком и щедро забинтовала их, хотя и ворчала при этом:

– У меня бинтов мало...

Потом она вышла в сопровождении Огаркова на улицу и сказала уныло:

– И часу не проживет... Провожать меня не надо. Уже светло, сама дойду.

Да, уже было светло. Огарков вошел обратно в избу. Мария погасила лампу и открывала ставни. Подойдя к Джурабаеву, Огарков встретил взгляд солдата – уже не вопросительный, а спокойный и очень усталый.

Джурабаев то и дело терял сознание и дышал все труднее.

За несколько минут до смерти он вдруг приподнял руку, показал Огаркову куда-то вниз, на свои ноги, и сказал:

– Нэмэц не оставим.

Он приказывал снять с себя сапоги, не оставлять их немцам. Огарков машинально посмотрел на эти сапоги – то была почти новая кожаная армейская обувь с подкованными каблуками.

С трудом оторвал он взгляд от этих сапог, а когда снова посмотрел в глаза Джурабаеву, тот был уже мертв. Великий разводящий – Смерть – снял с поста часового.

## Глава восьмая

Мария принялась убирать мертвого. Она делала это тихо, бесшумно, без суеты, не стыдясь наготы мертвого тела. По-крестьянски основательно обмыла она его, сложила ему руки крест-накрест и даже нашла свечу, но потом решила, что христианский обряд тут неуместен, поскольку покойник – нерусский человек.

О гробе нечего было и думать, и она просто обернула тело в простыню.

Они похоронили Джурабаева в углу большого двора, среди кустов малины. Потом Мария ушла в дом, а Огарков остался сидеть во дворе.

Он вдруг почувствовал себя человеком, лишенным жизненной опоры и какой-либо видимой цели. Ему казалось, что только что оборвалась последняя связь его с окружающим миром и весь мир отодвинулся в туманную глубину, оставив его, Огаркова, в полном одиночестве среди малинника и больших одуванчиков.

Но нет, он был не один. В соседнем дворе раздавался непонятный шум, звенела посуда, и мужской голос пел:

Начинаются дни золотые

Воровской непробудной любви.

Эх вы, кони мои вороные,

Черны вороны – кони мои!

Вначале Огарков не обращал внимания на пьяное пение, прерываемое возгласами деланного веселья, но оно все назойливее лезло в уши. Голос пел навзрыд:

Мы уйдем от проклятой погони,

Перестань, моя крошка, рыдать...

Странно было в это утро в пустынной, почти покинутой станице слышать пение.

На пороге избы появилась Мария. Она минуту постояла, издали глядя на Огаркова, потом пошла к нему, быстро и мелко шагая по траве гибкими босыми ногами. Остановившись возле Огаркова, она прислушалась к пению и сказала:

– Это сосед наш вернулся. Отвоевался, говорит. Не пойдет за Дон. – Она протянула Огаркову белую вышитую рубашку: – Переоденьтесь. А я вашу гимнастерку постираю, она вся в крови.

Он начал переодеваться, сам не зная зачем, – вероятно, по усвоенной за последнее время привычке кому-нибудь подчиняться. При этом его рука нащупала в кармане гимнастерки бумажку. Он быстрым движением переложил ее в брючный карман:

Пение в соседнем дворе оборвалось, и тот же голос громко позвал:

– Соседка! Прошу ко мне, погуляешь с нами! И гостя своего зови. Угощу!... Гулять так гулять...

Мария нахмурилась, ничего не ответила и ушла, унеся с собой гимнастерку Огаркова. Когда она исчезла в дверях своей избы, Огарков бережно вынул из кармана ту самую бумажку.

Он держал в руках единственный документ, удостоверяющий или, вернее, отрицающий прошлую жизнь Огаркова – приговор Военного Трибунала. Он прочитал его внимательно и подробно, почти по складам, с чувством жгучего любопытства, как совсем посторонний человек. Потом его затуманившийся взгляд скользнул по свежему холмику, и он вспомнил, что вот здесь лежит не кто иной, как Джурабаев, лежит и никогда больше не встанет. И, значит, он, Огарков, свободен.

Горькая, но буйная радость охватила Огаркова. Он скомкал клочок бумаги и отшвырнул его от себя. Слабый ветер нехотя подхватил бумажку, неторопливо протащил ее по земле, чуть приподнял на воздух и равнодушно оставил валяться среди одуванчиков.

И тут над самым ухом Огаркова внезапно раздался хриплый голос:

– Мое почтение новому соседу! Давай знакомиться.

Огарков быстро оглянулся. На него сквозь плетень смотрел с настороженной ухмылкой большой краснолицый человек. Он простирал через прорехи в плетне большие руки к Огаркову, словно жаждал обнять и облобызать его, быть с ним вместе. И на нем была надета точно такая же вышитая рубашка, какая была теперь на Огаркове.

Огарков с минуту внимательно смотрел в глаза тому человеку, а тот человек тоже смотрел и молчал. Потом Огарков поднялся, медленно подобрал с травы смятую бумажку и, не оглядываясь, пошел в избу.

В избе было прохладно и тихо. Тикали ходики. За окном на веревке сушилась уже выстиранная гимнастерка. В соседней комнате слышались негромкие голоса женщин.

В углу стояло большое зеркало, и Огарков подошел к нему.

Перед ним оказался высокий статный человек в белой вышитой рубашке и, как ни странно, с короткой, но густой белокурой бородой.

Огарков с бородой? Нет, это не мог быть Огарков. Да и лицо – загорелое, обветренное, шоколадного цвета – почти не похоже было на огарковское лицо.

Он отвернулся от зеркала, чтобы не видеть своего нового обличья.

Мария внесла кипящий самовар и накрыла на стол. Они стояли несколько мгновений почти

вплотную друг к другу, потом она, слегка покраснев, отпрянула и сказала:

– Кушайте.

Но Огарков не садился. Где-то далеко грянул одинокий пушечный выстрел. Огарков посмотрел на Марию и встретился с ее взглядом, напряженным и ожидающим. Он сказал:

– Мне надо идти.

– Вам гимнастерку дать? – покорно спросила она.

– Да.

– Вас в части ждут?

– Да.

Они впервые посмотрели прямо в глаза друг другу, и она вздохнула с каким-то непонятым облегчением. Да, она хотела, чтобы он остался, но не так остался, как тот, распевавший песни в соседнем дворе.

Она принесла еще влажную гимнастерку и утюг, полный мерцающих угольков. Она выгладила гимнастерку и пришила оторвавшуюся на шинели пуговицу. Он любовался ее быстрыми и гибкими движениями, полный благодарности за то, что она так заботливо собирает его в дорогу, «в дальнюю, дальнюю дорогу», – думал он устало и почти совсем уже без горечи.

Он переоделся, взял оба автомата – джурабаевский и свой, трофейный, и положил в карман красноармейскую книжку и партийный билет Джурабаева, лежавшие на подоконнике.

Выйдя из станицы и поднявшись на гребень, они увидели Дон. В овраге зенитной батареи уже не было, среди зеленой травы чернели окопы, в которых раньше стояли пушки.

Внезапно раздался оглушительный взрыв. Огарков с Марией переглянулись.

– Переправу взорвали, – сказала она.

Он растерянно остановился. Она с напряжением ждала, что он скажет. Обломки моста с шумом падали в воду.

«Опоздал», – подумал он, глядя на реку ничего не видящими глазами.

– Я вплавь доберусь, – пробормотал он.

Она сказала:

– У меня здесь лодка спрятанная.

Они пошли вдоль реки обратно к станице. Спустившись по крутому берегу, Мария исчезла среди густых зарослей у самой воды. Вскоре она позвала его. Он спустился к ней и увидел в камыше маленькую душегубку с одним коротким веслом.

– Вот, – сказала Мария.

– А как с лодкой быть? – спросил он.

Она, глядя вдаль, махнула рукой.

– Пусть там остается.

В голубом высоком небе прогудел немецкий разведчик. Мария припала к плечу Огоркова и зашептала:

– Когда вернетесь, заходите к нам, если не забудете про меня.

– Не забуду, – сказал он дрогнувшим голосом.

– Управитесь один? – спросила она минуту погодя.

– Я на Волге вырос, – ответил Огарков и переступил борт душегубки.

Мария быстро и еле сдерживая слезы оттолкнула лодку от берега и сказала:

– Вот мы под немцем остаемся. Возвращайтесь поскорее.

Он машинально ответил:

– Хорошо, вернемся.

Лодка понеслась вперед, и вскоре Огарков очутился на середине реки. Одинокая фигура женщины на берегу исчезла из виду.

Оглядевшись кругом, Огарков ощутил в душе чувство необычайной свободы и даже счастья. Он сидел на корме и подгонял лодку сильными ударами весла то вправо, то влево. Нос лодки приподнялся, и по верх носа виднелся крутой склон восточного берега, крылья ветряка и труба сахарного завода, а над всем – небо с белыми облаками.

Все это было видано и перевидано много раз с детства, но никогда не было при этом того безграничного чувства свободы, которое он испытывал теперь.

И ему захотелось, чтобы его хоть на одно мгновение увидели мама и Джурабаев. И если жива маленькая химинструкторша Валя, так чтобы и она увидела его. И командир саперного батальона, и курносый лейтенант, и лейтенант в немецкой плащ-накидке, и батальонный комиссар с квадратным лицом, и старик, похожий на Льва Толстого, и Синяев, и жена командующего. Чтобы все они видели, что он не жалкий беглец, убегающий от смерти, а человек, сознающий свою вину и готовый держать за нее ответ.

Лучше всего было бы, если бы пуля с самолета – вражеская пуля! – попала не в Джурабаева, а в него. Он лежал бы под холмиком во дворе у Марии, прислушиваясь к шелесту листьев и трав и сам превращаясь в травы и листья и в красные ягоды малины. И он бы вскоре дождался знакомого топота солдатских ног, услышал бы голоса своих товарищей, с боями и песнями идущих обратно на запад. А в этой лодочке плыл бы теперь человек, достойнее его, – Джурабаев.

Но раз уже случилось так, а не иначе, и он, Огарков, получил свободу и выбор – он поступит, как сын своей страны, готовый умереть от ее руки, потому что не в силах жить, виновный и отринутый ею.

Лодка ударилась о берег. Огарков высадился, вытащил лодку и пошел.

Он прошел мимо саперов, роющих окопы, мимо пехотинцев, спавших на солнцепеке, мимо полевых кухонь, мимо артиллерийских батарей. Он прошел станицу и другую, здороваясь с солдатами и офицерами, он пил воду из колодцев и ел помидоры с бахчей. Его лицо было приветливо и печально, и люди, чувствуя в нем что-то значительное, сердечно встречали его.

Ему хотелось поскорее умереть, чтобы не сожалеть о жизни, суровой, но прекрасной.

На большой дороге, по которой не прекращалось движение частей и обозов, он увидел двух верховых и в едущем впереди узнал лейтенанта Синяева. Тогда он в последний раз пережил минутную слабость,— почти панический страх. Он вздрогнул, остановился и сделал движение назад, в придорожные кусты. Потом опомнился, подошел к Синяеву, ехавшему шагом, притронулся к седлу и сказал:

– Здравствуйте, товарищ лейтенант.

Синяев не узнал Огаркова и коротко осведомился:

– Чего?

– Вы меня не узнаете? – спросил Огарков.

Синяев посмотрел на Огаркова и сказал:

– Вы обознались.

Огарков снял руку с седла, некоторое время шел молча рядом с лошастью, потом назвал себя:

– Я – Огарков.

Синяев изменился в лице.

– Как? – спросил он, ошеломленный.

Огарков кратко рассказал, каким образом он очутился здесь, и сдавленным голосом спросил Синяева:

– Вы не в штаб армии едете?

– Туда,— ответил Синяев.

Он соскочил с коня и пошел рядом с Огарковым. Так шли они молча всю дорогу до той обсаженной тополями станицы, где разместился штаб.

\* \* \*

Не будет преувеличением сказать, что в последующие дни все полевое управление армии, от солдат-посыльных до генералов, было озабочено и захвачено судьбой Огаркова. Его возвращение, по сути дела вполне добровольное, в распоряжение трибунала, приговорившего его к расстрелу, поразило и растрогало людей, хотя и ожесточенных отступлением, тяжелыми лишениями и смертью друзей.

Все ждали результатов доследования и окончательного решения с нетерпением и не без опасений, так как прекрасно знали, что трибунал, как учреждение, может и не принять во внимание возвращение Огаркова: формально поступок этот мог считаться вполне естественным и само собой разумеющимся. И некоторые офицеры из самых молодых (в первую очередь, разумеется, Синяев) уже заранее обвиняли трибунал в черствости и формализме.

Наконец стало известно, что дело поступило на рассмотрение Военного совета, благо приговор ранее не был утвержден. Какими рекомендациями сопровождал трибунал дело в нынешней его фазе, было покрыто тайной.



Всю ночь перед решением лейтенант Синяев не спал. Он прогуливался неподалеку от лужайки, где размещались блиндажи армейского командования. Оттуда доносились негромкие разговоры. Аппараты Бодо и Морзе выстукивали под землей слова донесений и приказов. Синяев все ходил взад и вперед и ждал. Его приятель, адъютант члена Военного совета, обещал ему, как только он что-нибудь узнает, выскочить на улицу. Но адъютант все не появлялся.

Между тем наступил рассвет, запели птицы и забегали посыльные.

На востоке, там, где была Волга, встали огромные вертикальные красные полосы, похожие очертаниями на гигантских алых солдат, медленно идущих вдоль горизонта.

День вступал в свои права. Синяева вызвали и послали в дивизию с поручением, там его ранило в бедро, и только на следующий день, в госпитале, он с чувством облегчения узнал, что Огарков помилован и послан командовать взводом на передовую.

Конечно, на членов трибунала и Военного совета, как и на всех других людей, произвело впечатление возвращение Огаркова; к тому же перед этим выяснилось еще одно важное обстоятельство. Дивизия, в которой служил Огарков, не была разгромлена, как это считалось раньше. Потеряв связь с армией и обнаружив, что у него открыты фланги, командир дивизии, естественно, должен был принять и действительно принял самостоятельное решение. Дивизии удалось с боями вырваться из немецкого полукольца, она отошла, вскоре сообщила о себе и позднее была отведена за Волгу. В качестве удивительной драматической подробности передавали, что части дивизии при отступлении прошли через станицу, где днем раньше слушалось дело Огаркова, и, более того, они якобы проследовали буквально мимо той самой землянки, в которой находился приговоренный к смерти Огарков. Как бы там ни было, при пересмотре дела третий, самый грозный свидетель – дивизия – не выступил на суде.

Три года спустя, уже в Германии, Синяев напал на след Огаркова.

Синяев, к тому времени майор, приехал по служебным делам в город Бранденбург и там познакомился с неким майором Кузиным, начальником разведки одной из наших дивизий. Оказалось, что Кузин знает Огаркова, они служили в одном полку в то злополучное лето.

И вот этот самый Кузин встретил Огаркова на днях здесь неподалеку, в небольшом немецком городишке. Огарков уже был капитаном и командовал саперной ротой. Люди, воевавшие вместе с ним, рассказывали о нем как о храбром человеке и отличном товарище. Правда, за ним замечали одну особенность: он иногда задумывался, становился рассеянным до странности. Однако людям, знавшим его историю, это не казалось удивительным.

Может быть, в эти минуты он вспоминал придонские места и перед его глазами вставало туманное видение: по необъятной степи бредут два человека, отбрасывая на высокую пшеницу волнистые тени – длинную и короткую.

1948